

INSPIRIA

СЛУЧАЙ

Грэм
Макрей
Барнет

ИЗ

ПРАКТИКИ



В переводе
Татьяны Покидаевой



INSPIRIA

Переведено. На реальных событиях

Грэм Макрей Барнет
Случай из практики

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Барнет Г.

Случай из практики / Г. Барнет — «Эксмо»,
2021 — (Переведено. На реальных событиях)

ISBN 978-5-04-188800-8

Длинный список Букеровской премии. Уморительный и очень британский роман-матрешка о безумном мире психиатрии 1960-х годов. «Я решила записывать все, что сейчас происходит, потому что мне кажется, что я подвергаю себя опасности», – пишет молодая женщина, расследующая самоубийство своей сестры. Придумав для себя альтер-эго харизматичной и психически нестабильной девушки по имени Ребекка Смитт, она записывается на прием к скандально известному психотерапевту Коллинзу Бретуэйту. Она подозревает, что именно Бретуэйт подтолкнул ее сестру к самоубийству, и начинает вести дневник, где фиксирует детали своего общения с психотерапевтом. Однако, столкнувшись с противоречивым, загадочным, а местами насквозь шарлатанским миром психиатрии 60-х годов, героиня начинает сильно сомневаться не только в ее методах, но и в собственном рассудке.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-188800-8

© Барнет Г., 2021

© Эксмо, 2021

Содержание

Предисловие	6
Первая тетрадь	8
Бретуэйт I: Ранние годы	30
Вторая тетрадь	35
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Грэм Макрей Барнет

Случай из практики

Graeme Macrae Burnet
CASE STUDY

Copyright © Graeme Macrae Burnet 2021

Фотография на обложке:
© Ulas&Merve / Stocksy United / Legion-Media

Перевод с английского *Татьяны Покидаевой*



© Покидаева Т., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Предисловие

В конце 2019 года я получил электронное письмо от некоего мистера Мартина Грея из Кляктон-он-Си. Он сообщал, что в его распоряжении имеются тетради с записями его двоюродной сестры, которые, с его точки зрения, могли бы послужить основой для интересной книги. Я поблагодарил его в ответном письме, но предложил ему самому взяться за книгу. Мистер Грей возразил, что он отнюдь не писатель и что он обратился ко мне не просто так. Он видел пост в моем блоге, где я писал о Коллинзе Бретуэйте, известном в 1960-х, а ныне напрочь забытом психотерапевте. В тетрадях содержатся определенные заявления касательно Бретуэйта, и мистер Грей был уверен, что они меня заинтересуют.

Мне действительно сделалось любопытно. За пару месяцев до письма мистера Грея я случайно наткнулся на экземпляр «Антитерапии» Бретуэйта в «Вольтере и Руссо», книжном магазине в Глазго, где, как известно, всегда царит хаос. Бретуэйт был современником Р. Д. Лэйнга и считался *enfant terrible*¹ антипсихиатрического движения 1960-х годов. Его книга, сборник случаев из психотерапевтической практики, показалась мне непристойной и дерзкой, ниспровергающей все устои и весьма увлекательной. Мой разгоревшийся интерес к ее автору не был удовлетворен скудными сведениями, содержащимися в интернете, и я был достаточно заинтригован, чтобы посетить архив в Даремском университете, в двадцати пяти милях к северу от Дарлингтона, родного города Бретуэйта.

Этот «архив» представлял собой пару картонных коробок, в которых хранились густо испещренные пометками рукописи книг Бретуэйта (с многочисленными рисунками на полях, неприличными, но не лишенными художественных достоинств), несколько вырезок из газет и небольшое количество писем, в основном – от издателя Бретуэйта, Эдварда Сирса, и его бывшей любовницы Зельды Огилви. Собрав по крупицам подробности удивительной жизни Бретуэйта, я задумался о написании его биографии, однако эта идея не встретила энтузиазма у моего литагента и нынешнего издателя. Кто сейчас будет читать, говорили они, о каком-то забытом, дискредитированном психотерапевте, чьи книги не переиздавались уже несколько десятилетий? Я был вынужден согласиться, что это резонный вопрос.

Именно в таких обстоятельствах началась моя переписка с мистером Греем. Я написал, что мне все же хотелось бы взглянуть на тетради, и сообщил ему мой почтовый адрес. Бандероль пришла через два дня. Никаких условий публикации в сопроводительной записке не было. Мистер Грей не хотел никакого вознаграждения и предпочел сохранить анонимность из уважения к частной жизни своей семьи. Он признался, что Грей – ненастоящее имя. Он просит лишь об одном: если тетради мне не пригодятся, отослать их обратно. Однако он был уверен, что этого не случится, и не указал на конверте обратный адрес.

Я прочел все пять тетрадей за один день. Весь мой скептицизм растаял без следа. Автор тетрадей не только рассказывала увлекательную историю, но и сам слог изложения, вопреки ее собственному утверждению, был очень даже неплох. Несколько беспорядочное расположение материала, как мне показалось, лишь добавляло достоверности ее рассказу.

Однако спустя пару дней я пришел к мысли, что стал жертвой розыгрыша. Мистер Грей знал, чем меня соблазнить: набором случайно найденных тетрадей, где описана преступная халатность человека, чью биографию я сейчас изучаю. Но если это была мистификация, она должна была стоить мистеру Грею немалых усилий. Просто сесть и заполнить пять толстых тетрадей – само по себе очень трудозатратно. Я решил провести собственную проверку. Такие тетради (обычные недорогие школьные тетрадки от «Силвин») продавались в то время на каждом углу. Записи не датированы, однако различные указания в тексте дают основания предпо-

¹ Кошмарный, несносный ребенок (*фр.*).

ложить, что описанные события происходили осенью 1965-го, когда Бретуэйт действительно принимал пациентов в доме у Примроуз-Хилл и пребывал на пике своей славы. Страницы из «Антитерапии», вклеенные в первую тетрадь, вырезаны из первого издания, которое позже было уже не достать – из чего заключаем, что тетради и вправду могли быть написаны в середине 1960-х. Многие детали вполне соответствуют тому, что я читал в университетских архивах и газетных статьях того времени. Впрочем, это еще ничего не доказывает. Если тетради – умелая подделка, их автору было достаточно провести те же самые изыскания, которые провел я сам. В тексте также есть много неточностей. Например, упомянутый в повествовании паб называется не «Пембриджский», а «Пембрукский замок». Однако такие ошибки скорее свойственны человеку, который честно записывает свои мысли, упуская из виду какие-то мелкие подробности, чем хитроумному обманщику, создающему фальшивку. В тетрадях также содержится сцена с участием самого мистера Грея, причем там он представлен в нелестном свете. Вряд ли он стал бы писать о себе что-то подобное, если бы сочинял всю историю из головы.

Плюс к тому оставался вопрос мотивации. Я не смог придумать ни одной причины, по которой незнакомый мне человек взял на себя столько хлопот, чтобы меня обмануть. Вряд ли он имел целью дискредитировать Бретуэйта, чья карьера сама по себе завершилась позором и чье имя теперь если и упоминается в психиатрической литературе, то исключительно в сносках или примечаниях.

Я написал мистеру Грею. Сообщил, что тетради действительно интересны, но я не могу ничего предпринять, не имея убедительных доказательств их подлинности. Он ответил, что совершенно не представляет, какие именно доказательства он мог бы представить. Он нашел эти тетради, когда разбирал вещи в дядином доме в Мейда-Вейле. Свою двоюродную сестру он знал с детства, стиль изложения в тетрадях – общая лексика и речевые обороты – полностью соответствует ее обычной манере речи. Он мог бы поклясться, что тетради написаны именно ее рукой. Разумеется, он понимает, что это не те доказательства, которые мне нужны. Я попросил мистера Грея о личной встрече. Он отказался, вполне резонно заметив, что личная встреча все равно ничего не докажет. Если я не доверяю его *bona fides*², я могу просто вернуть тетради. На этот раз он указал номер почтового абонентского ящика.

Этого я, как очевидно, не сделал. Убедив себя в подлинности тетрадей, я тем не менее не могу поручиться за правдивость их содержания. Возможно, описанные события – просто фантазии молодой женщины с явными литературными амбициями; женщины, которая, по ее собственным утверждениям, пребывала в смятенном состоянии ума. Наверное, не так уж и важно, происходили ли эти события на самом деле. Как мистер Грей очень верно заметил в своем первом письме, они действительно могут послужить основой для интересной книги. Тетради попали ко мне в тот момент, когда меня увлекла биография Бретуэйта, и такое удачное совпадение можно было принять за знак свыше. Я с еще большим усердием принялся собирать материалы, посетил все места, так или иначе связанные с Бретуэйтом, тщательно изучил все его работы и провел несколько интервью с лично знавшими его людьми – и теперь представляю вниманию читателей слегка отредактированные тетради и результаты моих собственных изысканий.

ГМБ, апрель 2021.

² Добросовестность, честные намерения (лат.).

Первая тетрадь

Я решила записывать все, что сейчас происходит, потому что мне кажется, будто я подвергаю себя опасности, и если я окажусь права (что, надо признаться, случается редко), эта тетрадь послужит своего рода уликой.

К сожалению, как станет ясно практически сразу, у меня нет способностей к связному изложению. Я перечитала свою первую фразу и сама вижу, что получилось довольно убого, но если я буду возиться с красотами стиля, то, боюсь, не смогу вообще ничего написать. Мисс Лайл, моя учительница английского, всегда укоряла меня в том, что я пытаюсь втиснуть слишком много мыслей в одно предложение. Она говорила, что это признак неупорядоченного ума. «Сначала надо решить, что ты хочешь сказать, а затем выразить свою мысль максимально простыми словами». Это был ее лозунг, ее девиз – безусловно, правильный и хороший, – но я понимаю, что уже не справляюсь. Я написала, что подвергаю себя опасности, и тут же пустилась в лирические отступления, никак не относящиеся к делу. Но я не буду начинать сначала, а просто продолжу. Тут главное – смысл, а не стиль; на этих страницах я буду записывать все, что со мной происходит. Слишком гладкое повествование не вызывает доверия; возможно, именно в мелких погрешностях содержится правда. В любом случае у меня все равно не получится следовать доброму совету мисс Лайл, потому что я еще не знаю, что хочу сказать. Однако ради того, кому не посчастливится прочесть эти строки, я постараюсь вести рассказ четко и ясно и выражать свои мысли максимально простыми словами.

Начну с простой констатации фактов. Упомянутая мной опасность исходит от человека по имени Коллинз Бретуэйт. В прессе его называют самым опасным человеком Британии из-за его радикальных идей относительно психиатрии. Однако я убеждена, что опасны не только его идеи. Я уверена, что доктор Бретуэйт убил мою сестру Веронику. Убил не в прямом смысле слова, и тем не менее он виноват в ее смерти, как если бы задушил ее собственными руками. Два года назад Вероника бросилась с моста над железнодорожными путями в Камдене, прямо под поезд, следовавший из Лондона в Хай-Барнет. Вряд ли можно представить себе человека, менее склонного к подобным поступкам. Ей было двадцать шесть лет. Она была умной, успешной и вполне привлекательной женщиной. Однако втайне от папы и от меня, она в течение нескольких месяцев посещала доктора Бретуэйта. Мне это известно с его собственных слов.

Задолго до личного знакомства с доктором Бретуэйтом, я знала его характерную манеру речи с тягучими долгими гласными неотесанного уроженца северных графств. Я слышала его выступления по радио и однажды видела по телевизору в дискуссионной программе о психиатрии с Джоан Бэйкуэлл в роли ведущей³. Внешность Бретуэйта оказалась такой же непривлекательной, как и его голос. Он явился на передачу без галстука и пиджака, в рубашке с расстегнутым воротом. Его волосы, достававшие до воротника, были взъерошены, и он постоянно курил. У него были крупные, резкие черты лица, словно их нарочно утрировал художник-карикатурист, однако даже на телеэкране его лицо притягивало к себе взгляд. Я почти не замечала других гостей в студии. Не помню, что именно говорил Бретуэйт, но хорошо помню манеру речи. Он держался как человек, с которым лучше не спорить. Соппротивление все равно бесполезно. Он говорил строгим и чуть утомленным начальственным тоном, словно беседовал с подчиненными. Участники программы сидели полукругом, мисс Бэйкуэлл занимала место в центре. Все сидели, выпрямив спины, как в церкви, и лишь доктор Бретуэйт развалился в

³ Этот выпуск программы «Вечерние дебаты» (Late Night Line-Up) вышел в эфир на BBC2 в воскресенье 15 августа 1965-го. Помимо Бретуэйта в дискуссии принимали участие Энтони Сторр, Дональд Винникотт и тогдашний епископ Лондона Роберт Стопфорд. Доктор Лэйнг получил приглашение на программу, но отказался делить трибуну с Бретуэйтом. К сожалению, ни одной записи этого эфира не сохранилось, но позже Джоан Бэйкуэлл писала, что Бретуэйт был «одним из самых высокомерных и неприятных людей, которых ей не посчастливилось знать». (Примечание автора.)

своем кресле, будто скучающий школьник за партой, подпер подбородок ладонью и смотрел на других гостей с этакой смесью презрения и скуки. Ближе к концу программы он неожиданно встал и ушел из студии, пробормотав неприличное ругательство, которое я не буду здесь повторять. Мисс Бэйкуэлл заметно оторопела, но быстро взяла себя в руки и заявила, что ретировавшийся гость, видимо, осознал несостоятельность своих аргументов и решил не вступать в дискуссию с коллегами.

На следующий день все газеты выступили с осуждением поведения доктора Бретуэйта: он воплощает в себе все худшее, что есть в современной Британии; в его книгах изложены более чем непристойные идеи, а человеческая натура представлена в самых низких ее проявлениях. Естественно, еще через день, едва дождавшись обеденного перерыва, я пошла в «Фойлиз» и приобрела его последнюю книгу под неприглядным названием «Антитерапия». Кассир протянул ее мне так, словно боялся чем-нибудь заразиться, и одарил меня неодобрительным взглядом. В последний раз на меня так смотрели в книжном магазине, когда я покупала скандальный роман мистера Лоуренса⁴. Книга, завернутая в плотную бумагу, пролежала у меня в сумке до вечера, и я развернула ее лишь после ужина, запершись у себя в спальне.

Тут надо сказать, что все мои знания о психиатрии были почерпнуты из кинофильмов, где пациентки лежат на кушетках и рассказывают свои сны бороатым врачам, которые всегда говорят с сильным немецким акцентом. Наверное, поэтому вводная часть «Антитерапии» показалась мне сложной и непонятной. Там было много незнакомых слов, длинные предложения растягивались на полстраницы и были настолько замысловатыми, что автору явно не помешало бы воспользоваться советом мисс Лайл. Из введения я поняла только то, что Бретуэйт вообще не собирался писать эту книгу. Его «посетители», как он их называет, – это личности, а не «случаи из практики», и их нельзя выводить на потеху почтеннейшей публике, словно каких-то цирковых уродцев. Если он все же решил опубликовать эти истории, то исключительно для того, чтобы защитить свои идеи от пренебрежительных нападок со стороны истеблишмента (это слово он употребляет довольно часто). Он называет себя антитерапевтом: свою задачу он видел в том, чтобы убедить пациентов, что они не нуждаются в терапии, и чтобы ниспровергнуть «убого сколоченную махину» современной психиатрии. Такая позиция показалась мне своеобразной, но, как я уже говорила, я совершенно не разбираюсь в этих вопросах. Эта книга, писал Бретуэйт, может служить дополнением к его предыдущей работе. Она состоит из коротких рассказов об отдельных его пациентах и их проблемах. Разумеется, все имена и обстоятельства изменены, чтобы сохранить конфиденциальность, но все эти люди реальны, как реальны и их истории.

Пробившись сквозь малопонятную вводную часть, я приступила к самим историям, которые неожиданно оказались пугающе увлекательными. Когда читаешь о людях, по сравнению с которыми бледнеют твои собственные эксцентричные закидоны, это все-таки обнадеживает. Ближе к середине книги я уже ощущала себя нормальной. И только ближе к концу предпоследней главы поняла, что читаю о Веронике. Пожалуй, самым разумным решением будет вклеить эти страницы сюда:

Глава 9

Дороти

Дороти – умная, образованная молодая женщина лет двадцати пяти. Старшая из двух сестер, она росла и воспитывалась в семье представителей среднего класса, в большом городе в Англии. Ее родители были бесстрастными и флегматичными англосаксами. Дороти ни разу не видела, чтобы они проявляли какие-то нежные чувства друг к другу. Все споры в семье, как она говорила, разрешались всегда одинаково: ее отец, тихий, покладистый

⁴ Имеется в виду «Любовник леди Чаттерлей» Дэвида Лоуренса.

человек, чиновник на государственной службе, почти безропотно уступал матери. До шестнадцати лет, когда внезапно скончалась мать, детство Дороти не омрачали никакие серьезные травмы, однако, когда я спросил, было ли ее детство счастливым, она затруднилась с ответом. Позже она призналась, что с ранних лет ощущала себя виноватой, потому что росла в благополучной семье и прекрасных условиях, которых лишены многие дети, и все равно не была счастлива. Однако она притворялась счастливой, чтобы сделать приятное отцу, чье счастье как будто всецело зависело от ее собственного. Он постоянно ее уговаривал с ним поиграть, в то время как ей хотелось просто побыть одной. Ее мать, с другой стороны, непрестанно напоминала обеим своим дочерям, как сильно им повезло в жизни, в результате чего Дороти с самого раннего детства научилась проявлять сдержанность, особенно по отношению к «маленьким радостям», которыми ее баловал отец: мороженому, подаркам на дни рождения, конфетам и т.п. Также с самого раннего детства она злилась и обижалась на младшую сестру. Она утверждала, что это была не обычная ревность старшего ребенка, когда в семье появляется младший и «перетягивает» на себя часть родительской любви и заботы. Ее обижало, что родители относятся к ним одинаково, хотя младшая часто бывает капризной, своевольной и непослушной. Дороти казалось несправедливым, что ее примерное поведение никогда не заслуживает награды, в то время как непослушание сестры всегда остается, по сути, безнаказанным.

Дороти с отличием окончила школу, получила стипендию и поступила в Оксфорд на математический факультет. Она была лучшей на курсе и, даже будучи интровертом, неплохо вписалась в студенческий коллектив. В Оксфорде над ней не довлела обязанность участвовать в общих затеях и делать вид, что ей весело. Она была замкнутой и необщительной. Она говорила, что впервые в жизни у нее появилась возможность «быть собой». И все же, когда сокурсницы и сокурсники ходили на танцы или устраивали спонтанные вечеринки у кого-нибудь дома, ее брала зависть. По окончании университетского курса она получила диплом с отличием и позже, когда поступила в аспирантуру, познакомилась с молодым человеком из младшего преподавательского состава. Они обручились. Она говорила, что не питала к нему никаких сильных чувств – и уж точно никакого влечения, – но согласилась выйти за него замуж, потому что он казался ей порядочным человеком, которого одобрит ее отец. Однако вскоре жених разорвал помолвку, поскольку, как он объяснил, хотел сосредоточиться на карьере. Дороти говорила, что, как ей представляется, истинная причина разрыва заключалась в том, что у нее было нервное истощение, ей пришлось пройти курс лечения в санатории, и жених, видимо, испугался, что она психически нестабильна. Впрочем, она была только рада прекратить отношения, поскольку сама не чувствовала себя готовой к браку.

В свой первый визит Дороти была скромно одета и представилась в сдержанной, деловой манере, словно пришла проходить собеседование на работу. Хотя день выдался теплый, на ней был строгий твидовый костюм, в котором она выглядела значительно старше своих лет. Она либо вовсе не пользовалась косметикой, либо пользовалась очень умеренно. Вполне обычная тактика для представителей среднего класса. Им хочется произвести благоприятное впечатление; хочется сразу отмежеваться от пускающих слюни

психов, которые, как им представляется, буквально толпятся в кабинете у психотерапевта. Но Дороти пошла еще дальше. Она объявила буквально с порога:

– Так что, доктор Бретуэйт, как мы будем работать?

Эта молодая женщина слишком очевидно стремилась держать все под контролем. Я решил ей подыграть:

– Как вам будет угодно.

Она явно тянула время. Сняла перчатки, аккуратно положила их в сумочку и поставила ее на пол у себя под ногами. Затем завела разговор об организационных моментах: частота посещений, время сеансов и тому подобное. Я дал ей высказаться до конца. Молчание в таких ситуациях – основной инструмент терапевта. Я еще не встречал посетителей, способных противиться искушению заполнить тишину словами. Дороти поправила прическу, разгладила складку на юбке. Все ее движения были тщательно выверены. Она спросила, когда мы начнем.

Я сказал, что мы уже начали. Она было возразила, но сразу же осеклась.

– Да, конечно, – сказала она. – Вы, наверное, изучали мои невербальные сигналы. И, возможно, решили, что я пытаюсь уклониться от самого главного разговора: почему я к вам обратилась.

Я легонько кивнул, как бы подтверждая ее правоту.

– Но вы ждете, что я все-таки разговариваю и открою вам все свои тайны.

– Вы не обязаны ничего говорить, – сказал я.

– Однако все, что я скажу, может быть использовано против меня. – Она рассмеялась над собственной шуткой.

Работать с интеллектуалами сложно. Им хочется произвести на тебя впечатление своим собственным пониманием проблемы. Они не просто рассказывают о проблеме, но еще и комментируют свой рассказ. «Ну вот, я опять отвлекаю внимание от самого главного, – так они говорят. – Я уверен/уверена, что для вас это весьма показательно». Потому что им хочется доказать, что мы с ними беседуем на равных; что они хорошо представляют, что именно их беспокоит. Но это, конечно же, нонсенс. Если бы они понимали, в чем состоят их проблемы, то не пришли бы ко мне. Они не осознают, что именно их интеллект – их непрерывное стремление объяснить собственное поведение с помощью рациональной аргументации – в подавляющем большинстве случаев и есть корень всех бед.

Однако в случае с Дороти шутка вправду была показательной: она ощущала себя подсудимой в ожидании обвинительного приговора. Она обратилась ко мне по собственной инициативе, однако видела во мне врага. На данном этапе я не стал высказывать вслух эти мысли, а лишь повторил свой вопрос: как именно мы будем работать?

– Я думала, это вы мне подскажете, – сказала она и добавила с глупым смешком: – Ведь за это я вам и плачу, разве нет?

Очень типично для представителей среднего класса: упоминание о деньгах, неодолимое побуждение напомнить тебе, что ты, по сути, наемный работник. Дороти вошла в кабинет с видом женщины, привыкшей держать все под контролем, но, как только я передал ей контроль, она сразу же от него отказалась. Либо просто не знала, что с ним делать. Так я ей и сказал.

Она рассмеялась.

– Да, конечно, вы правы, доктор Бретуэйт. Вы проницательный человек. Теперь мне понятно, почему все так вас хвалят.

(Грубая лесть: еще один отвлекающий маневр.)

Как бы все это ни было забавно, разговор ни о чем уже начинал утомлять. К тому же нет ничего зазорного в том, чтобы соответствовать ожиданиям посетителей. Я спросил, что привело ее сюда.

– Так в том-то и дело, – сказала она. – Возможно, поэтому я тяну время. Я просто не знаю, что говорить. – Она замолчала, и я попросил ее продолжать. – То есть я не сумасшедшая. Я не слышу голосов, мне ничего не мерещится. Я не хочу переспать с собственным отцом. Я уверена, что есть много людей куда безумнее меня.

– Нам еще предстоит это выяснить, – сказал я.

– Может быть, мне пройти тест? – предложила она. – Я хорошо прохожу тесты. Может быть, тот, который с чернильными пятнами. Я вам скажу, что они все похожи на бабочек.

– Правда? – спросил я.

Она уставилась на свои руки.

– Нет, не совсем.

Мне совершенно неинтересно проводить с посетителями тест Роршаха. Также я не сторонник пятидесятиминутного часа, столь любимого многими практикующими психотерапевтами. Однако напоминание об уходящих оплаченных минутах может оказаться действенным стимулом. Можно не сомневаться, что каждый клиент, явившийся на прием к терапевту, неоднократно проигрывал в голове предстоящую беседу и уверял себя, что не уйдет, не коснувшись проблемы, из-за которой, собственно, пришел. Это особенно верно в отношении таких, как Дороти: прагматичных людей с научным складом ума. Будучи по образованию математиком, она, вероятно, решила, что, если опишет мне все симптомы, я просто подставлю их в формулу, и целительное решение сложится само собой. Но вопреки представлениям некоторых теоретиков, единой универсальной формулы человеческого поведения просто не существует. Личность формируется под воздействием совокупности обстоятельств, уникальных для каждого человека. Все мы – сумма этих обстоятельств и наших реакций на них.

Я заметил, как Дороти бросила взгляд на часы у себя на руке. Не изящные женские часики, а практичные мужские часы. Она сделала глубокий вдох.

– Вы, наверное, решите, что я совсем глупая, – медленно проговорила она, – но мне снятся сны, где меня раздавливает. Медленно раздавливает.

Я кивнул и сказал:

– Сны, говорите? Я не уверен, что мне интересны сны.

– Не только сны, – продолжала она. – Мысли тоже. Мысли наяву. Что меня что-то раздавит. Обрушится здание. Собьет машина. Затопчут в толпе. Иногда эти мысли возникают даже в связи с чем-то крошечным и безобидным. Буквально на днях ко мне в спальню залетела муха, и у меня было пугающее ощущение, что если она сядет на меня, то расплющит в лепешку.

Дороти посещала меня дважды в неделю в течение нескольких месяцев. Постепенно она перестала пытаться держать все под контролем. Вскоре ей даже понравилась роль введомой. Во время пятого или шестого визита она

спросила, можно ли ей прилечь на диванчик. Я сказал, что она вольна делать что хочет. Ей не нужно мое разрешение.

– Да, но мне лучше сесть или лечь? – спросила она.

Я не ответил, и она прилегла на диванчик так осторожно, словно он был утыкан гвоздями. Я никогда бы не подумал, что человек может *лежать* до такой степени напряженно, однако уже через пару недель она начала разуваться сразу же по приходе и укладывалась на диванчик если не томно, то близко к тому.

Почти всю необходимую мне информацию о Дороти я получил в первые два-три сеанса. С раннего детства она ощущала, что родители тянут ее в прямо противоположные стороны: отец ее баловал и хотел, чтобы она была счастлива; мать внушала ей чувство вины за любой опыт, связанный с чем-то приятным. Поскольку она не имела возможности соответствовать ожиданиям обоих родителей сразу и при этом стремилась угодить им обоим, она так и не научилась жить в свое удовольствие. Также вполне очевидна причина ее обиды и злости на младшую сестру: та вела себя так, как хотела вести себя Дороти, но считала для себя неприемлемым, при том, что младшую за ее поведение никто не наказывал.

В отличие от Аннетт и Джона, чьи случаи описаны в предыдущих главах, Дороти не хотела вернуть свое идеализированное «настоящее я», которое, как казалось тем людям, они потеряли. На самом деле у нее никогда не было четкого ощущения своего «я». Во время седьмого визита Дороти (после долгих увиливаний) призналась, что после смерти матери она испытала невероятное чувство освобождения. Как будто рухнул тоталитарный режим и теперь она может делать все, что захочет. Она в шутку сравнила это событие со смертью Сталина и тут же – за ней водилась такая привычка – отругала себя за такое крамольное сравнение.

Я спросил, как изменилось ее поведение в связи с данными обстоятельствами. Она ответила, что оно не изменилось никак. Было бы странно, сказала она, радоваться смерти матери. Я спросил, что ей хотелось бы сделать по случаю вновь обретенной свободы.

Она не смогла назвать что-то конкретное.

– Мне не то чтобы хотелось сделать что-то определенное. Просто я знала, что, если мне вдруг захочется что-то сделать, мне уже никто не помешает.

Во время учебы в Оксфорде Дороти не предавалась обычным порокам, свойственным студенческой молодежи, вырвавшейся из-под опеки родителей, будь то секс, алкоголь или наркотики. Она даже ни разу не выкурила сигарету. Она утверждала, что не запрещала себе всякие «сомнительные удовольствия», просто ей ничего этого не хотелось.

Я спросил, получала ли она удовольствие от своих достижений в учебе. Она покачала головой. Эти успехи ничего для нее не значили. Однако она призналось, что ей было приятно, когда отец ею гордился. То же касается и ее кратковременной помолвки: ей было приятно, что завидный жених обратил на нее внимание. Я спросил, что ей нравилось в ее избраннике, и она не придумала ничего лучше, чем сказать, что он был чистоплотным мужчиной и не совершал никаких непристойных поползновений.

Выждав пару недель, я вернулся к нашему первому разговору о страхах Дороти быть раздавленной. Поначалу она попыталась отшутиться.

– Кажется, в тот первый раз я устроила мелодраму, – сказала она. – С тех пор, как я стала ходить на сеансы, у меня больше не было таких мыслей.

И все-таки я настоял на продолжении разговора. Тогда эти мысли были реальны, и она рассказывала о них с явным волнением.

– Да, – сказала она. – Но я хорошо понимаю, что дом не обрушится мне на голову и не погребет меня заживо.

Я уже объяснил Дороти на предыдущих сеансах, что ее привычка все рационализировать происходит от внутреннего нежелания разбираться в собственных чувствах. Факт, что дом не обрушится ей на голову, не имеет значения. Ее страхи, ее реальные переживания – вот о чем мы сейчас говорим.

Я предложил вернуться к истории с мухой. Она как будто смутилась. Погибнуть под рухнувшим зданием или под колесами автомобиля хотя бы физически возможно. Но муха уж точно не может раздавить человека. Дороти вновь попыталась найти рациональное объяснение: мухи – грязные насекомые, они переносят заразу. Да, сказал я, но раньше вы говорили отнюдь не о страхе заразных болезней. Может быть, муха – лишь символ, предположила она, очевидно, решив, что пришла на прием к психоаналитику. Я объяснил, что символы мне совершенно неинтересны. Мне интересны явления как таковые. Она возразила, что в математике символы, знаки и эквиваленты часто используются для решения задач. На что я ответил, что, если бы ее проблему можно было решить с помощью математики, она справилась бы сама.

Проблема, конечно же, заключалась не в зданиях и не в мухах. Дороти ощущала, что внешний мир давит на нее, что он ее подавляет. Обычно она справлялась с этими ощущениями, внушая себе, что у нее есть все, что нужно, а большего ей и не хочется. Когда я это озвучил, Дороти начала возражать. Внутренняя система репрессий, которую она выстроила для себя, была настолько отлаженной и эффективной, что полностью выпала за пределы осознанного восприятия. Ей было проще поверить, что у нее нет никаких желаний, чем признать себе, что она сама их подавляет. Мне было несложно (апеллируя к ее развитому рациональному мышлению) убедить Дороти в том, что внешний мир ее вовсе не подавляет. Гораздо сложнее оказалось убедить ее в том, что давление, которое она ощущает, идет не извне, а изнутри. Она подавляла себя сама, причем так основательно, что все ее бытие-в-мире становилось ответом на воображаемую систему ограничений.

– То есть я стала бы больше собой, если бы была более раскрепощенной?

– Вопрос не в том, чтобы стать *больше* собой, – сказал я. – Ваше «я» – не какая-то отдельная сущность. Ваше «я» и есть вы. Вопрос в том, чтобы стать *меньше* собой или, если угодно, другим собой.

Дороти надолго задумалась. Мне вспомнились истории об узниках Освенцима, которые не могли заставить себя выйти за территорию лагеря, когда их освободили солдаты союзников.

– Но если я стану другим человеком, значит, я больше не буду собой.

Я сказал, что, если бы ей было комфортно «быть собой», она бы не обратилась за помощью к психотерапевту.

Я не видел смысла продолжать эту дискуссию. Получилось бы очень «смешно», если бы Дороти – человек, всю жизнь подавлявший свои желания в угоду другим, – вдруг изменила свое поведение лишь для того, чтобы угодить

мне. Поэтому я завершил наш сеанс, зная, что, будучи умной и рассудительной женщиной, она сможет самостоятельно сделать выводы.

Во время нашей, как оказалось, последней встречи я попросил Дороти представить, что ей выдали разрешение делать все, что захочется, сроком на двадцать четыре часа. Никто не узнает, что она будет делать, никто ее не накажет, никто не станет ее упрекать, и все ее действия останутся без последствий. Что она сделает, если получит подобное разрешение? Ее обескуражила сама идея. Она попросила подробнее разъяснить правила, регламентирующие это воображаемое разрешение. После долгих уверений и разуверений она все же задумалась над вопросом. Я заметил, что она покраснела, и спросил, о чем она думает. Она покраснела еще сильнее, подтверждая тем самым, что моя цель достигнута. Мне было не нужно, чтобы она озвучила свои мысли. Главное, что они у нее появились. Для Дороти это был безусловный прогресс. Я попросил ее сосредоточиться на том, о чем она сейчас думает, и спросил, какие будут последствия, если она действительно это делает.

– Никаких, – сказала она. – Вообще никаких.

Я сказал, что она может делать что хочет и быть кем хочет. Она вздохнула с таким облегчением, словно у нее гора свалилась с плеч. Она сказала, что больше не хочет быть Дороти. Поблагодарила меня и вышла из кабинета таким легким шагом, какого я никогда прежде у нее не замечал.

Поначалу я лишь удивлялась странному сходству между «Дороти» и Вероникой. Детали, которые изменил доктор Бретуэйт, сбили меня со следа. Вероника училась не в Оксфорде, а в Кембридже; наш отец был инженером, а не госслужащим; отношения Дороти с младшей сестрой никоим образом не походили на мои отношения с Вероникой. Может быть, мы с ней были не настолько близки, как положено сестрам, но Вероника никогда на меня не злилась и уж точно не таила никаких обид. Однако сходство действительно поражало. Я не смогла удержаться от смеха, когда прочитала, как Дороти осторожно и напряженно прилегла на диванчик. Это же вылитая Вероника! Точно так же, как Дороти, Вероника всегда до дрожи боялась ос, пчел, мух и мотыльков. И точно так же, как Дороти, она была яркой сторонницей соблюдения правил. Это могло быть простым совпадением, но в том, что Дороти *и есть* Вероника, меня окончательно убедило одно характерное словечко. В детстве, когда я впадала в неумный восторг или сильно грустила, Вероника всегда реагировала одинаково. «И что, обязательно надо устраивать мелодраму?» – говорила она, сморщив нос. Именно это слово употребила Дороти, когда корила себя за глупость. Позже, когда я узнала, что дом Бретуэйта располагается в пяти минутах ходьбы от моста, с которого бросилась Вероника, я уже не сомневалась, что она вышла из его кабинета вовсе не «легким шагом», как он утверждал в своей книге. Она вышла с твердым намерением покончить с собой. Хотя, может быть, именно это решение и придало легкости ее шагам. Но, памятуя о том, что мне неоднократно вменяли в вину слишком бурное воображение, я не стала спешить с выводами и на следующий день вновь пошла в «Фойлиз».

Я подошла к продавцу, серьезному юноше в вязаной жилетке и очках с тонкой проволоочной оправой. Он показался мне человеком, который не станет осуждать покупателей за их странные вкусы. Я сообщила ему вполголоса, что недавно прочла «Антитерапию», и спросила, есть ли у них в магазине еще что-нибудь Коллинза Бретуэйта. Продавец посмотрел на меня, как на какое-то допотопное чудо в перьях. «Еще что-нибудь? – переспросил он. – Да уж найдем!» Он сделал мне знак, чтобы я шла за ним, и я пошла, чувствуя себя чуть ли не заговорщицей из подполья. Мы поднялись на третий этаж, в секцию психологии. Он взял с полки книгу и вручил ее мне со словами: «Зажигательный текст». Я глянула на обложку. Там был нарисован силуэт человека, как бы раздробленного на кусочки. Книга называлась «Убей себя в себе».

В тот день на работе я сидела как на иголках, словно у меня в сумке лежала какая-то контрабанда. Я не могла сосредоточиться ни на чем, сказала мистеру Браунли, что у меня разыгралась убийственная мигрень, и отпросилась уйти пораньше. Уже дома, закрывшись в спальне, я распаковала свою покупку. Боюсь, я не смогла в полной мере оценить зажигательность текста, потому что не поняла в нем ни слова. Я не сомневаюсь, что всему виной моя собственная интеллектуальная немощь, но это было какое-то нагромождение совершенно невразумительных фраз, не имеющих смысла и никак друг с другом не связанных. Но название книги меня напугало, и в нем я увидела подтверждение очевидного безумия доктора Бретуэйта.

Разумеется, первым моим побуждением было немедленно обратиться в полицию. Следующим утром я позвонила мистеру Браунли и предупредила, что сегодня приду на работу попозже. Он спросил, как моя голова. Я ответила, что голова хорошо, но произошло преступление, и меня попросили явиться в полицию в качестве свидетеля. Я ничего не сказала отцу, но за завтраком, намазывая маслом тост, представляла, как я войду в полицейский участок на Харроу-роуд и заявлю, что хочу сообщить о преступлении. Меня попросят предъявить доказательства, и я сдержанно и спокойно положу на стол книги доктора Бретуэйта. «Все, что вам нужно знать, – скажу я, может быть, несколько театрально, – все здесь, на этих страницах».

Я дошла лишь до угла Элджин-авеню. Я представила озадаченное выражение на добром лице полицейского, похожего на персонажа из телесериала «Диксон из Док-Грин». «В чем конкретно суть ваших претензий?» – спросит он. Может быть, он пойдет проконсультироваться с начальством. Или просто скроется за перегородкой и сообщит сослуживцам, что к ним заявила какая-то малахольная. Я представила, как зальюсь краской, когда услышу их смех. В любом случае я поняла, что в отсутствии убедительных доказательств я все равно ничего не добьюсь и только выставлю себя душой.

Зато записаться на консультацию у доктора Бретуэйта оказалось проще простого. Я нашла его номер в городском телефонном справочнике в разделе «Прочие услуги». Позвонила с работы, когда мистера Браунли не было в офисе. Трубку взяла девушка. Видимо, секретарша. Я нервно спросила, можно ли записаться на консультацию. «Да, конечно», – сказала она таким будничным голосом, словно это было самое обычное дело. Она спросила, как меня зовут, и больше ничего. Я записалась на следующий вторник в половине пятого вечера. Ничего сложного. Запись как к стоматологу. И все-таки у меня было чувство, что я совершаю самый отчаянный и дерзкий поступок в своей жизни.

Я приехала на станцию Чок-Фарм за час до назначенного времени и спросила дорогу до Эйнджер-роуд. Молодой парень, к которому я обратилась, пустился в подробные объяснения, но почти сразу осекся и предложил проводить меня лично. Я вежливо отказалась. Мне не хотелось поддерживать светскую беседу и уж тем более – отвечать на расспросы о том, что именно я ищу на Эйнджер-роуд.

– Мне вовсе не трудно, – ответил он. – Я с удовольствием вас провожу. К тому же мне самому надо в ту сторону.

Я присмотрелась к нему повнимательнее. Красивый парень под тридцать с густыми, темными волосами. В «рыбацком» свитере грубой вязки, черном коротком пальто и без шапки. Хоть он и был чисто выбрит, в нем было что-то от битника. Он говорил с легким, приятным для слуха акцентом, который я не смогла распознать. Я сама виновата, что оказалась в таком затруднительном положении. Прежде чем обратиться к нему, я пропустила нескольких вполне безобидных прохожих. Как теперь выкрутиться, я не знала.

– Я обещаю к вам не приставать, – сказал он и добавил со смехом: – Конечно, если вы сами не захотите.

Я представила, как он затащит меня в кусты и подвергнет насилию. По крайней мере, у меня будет отличная тема для разговора с доктором Бретуэйтом. Я ничего не сказала, и дальше мы пошли вместе. Мой провожатый засунул руки поглубже в карманы пальто, словно

давая понять, что не намерен их распускать. Он назвал свое имя и спросил, как зовут меня. Поскольку обмен именами – это нормальная практика взаимодействия между людьми, я решила воспользоваться возможностью испытать свою новую личность.

– Ребекка Смитт, – сказала я. – С двумя «т».

Я придумала это имя, пока сидела в «Лионе» на Элджин-авеню. Все остальные изобретенные мной имена казались явно притворными: Оливия Карратерс, Элизабет Драйтон, Патриция Робсон. В них не было убедительности. На улице рядом с кафе стоял фургон с надписью: «Джеймс Смит и сыновья. Установка и обслуживание приборов центрального отопления». Смит – очень распространенная и потому совершенно невинная фамилия, которую никто не подумает взять себе в качестве псевдонима. Для моих целей такая фамилия подошла идеально. Немного подумав, я решила добавить вторую «т». Опять же для убедительности. «Смитт с двумя «т» – так я буду говорить, небрежно взмахнув рукой, словно мне надоело повторять это маленькое уточнение из раза в раз. И мне всегда нравилось имя Ребекка, может быть, из-за романа Дафны дю Морье. Оно хорошо ощущается на языке: три звучных слога с таким чувственным придыханием на последнем. Мое настоящее имя какое-то пресное. Не имя, а односложный кирпич, подходящий для школьной старосты и отличницы в удобных, практичных туфлях. Почему бы мне не побыть Ребеккой? Может быть, я скажу доктору Бретуэйту, что мои нервные недомогания происходят от неспособности соответствовать образу, который предполагает подобное имя. Дома я долго тренировалась перед зеркалом подавать руку для рукопожатия – ладонью вниз, пальцы чуть согнуты, – словно подаешь руку для поцелуя, как делают женщины, уверенные в собственной неотразимости. Также я тренировалась кокетливо улыбаться. По крайней мере, на мой собственный взгляд, получалось кокетливо. Мне уже начало нравиться быть Ребеккой. И теперь, когда я впервые назвалась этим именем, Том (или как его звали) даже бровью не повел. Да и с чего бы ему было водить бровями? Он явно не из тех мужчин, кого девушки отшивают, назвавшись *un nom d'emprunt*⁵.

– И что привело вас в Примроуз-Хилл, Ребекка Смитт? – спросил он.

Ребекка, как я ее представляла, не стала бы стыдиться подобных вещей, и я честно сказала, что иду на прием к психиатру.

Мой спутник не то чтобы застыл столбом, но посмотрел на меня с новым интересом. И задумчиво выпятил нижнюю губу.

– Прошу прощения, но по вам и не скажешь.

– Не скажешь? – озадаченно нахмурилась я.

Том смутился, словно испугался, что невольно меня обидел.

– Вы хотите сказать, что я не похожа на сумасшедшую? – подсказала я.

– Да. То есть, нет. В смысле, вы не похожи на сумасшедшую.

– Уверяю вас, я сумасшедшая, как мартовский заяц, – сказала я за Ребекку, изобразив ее самую ослепительную улыбку.

В этот раз он не смутился.

– Вы самый очаровательный мартовский заяц из всех, кого мне доводилось встречать, – сказал он.

Я никак не отреагировала на комплимент. Девушку вроде Ребекки комплиментами не удивишь.

– А что привело сюда вас? – спросила я.

– У меня здесь студия, – сказал он. – Я фотограф.

– И теперь вы пригласите меня вам позировать? – сказала я.

Как все-таки весело быть Ребеккой!

⁵ Вымышленное имя (фр.).

– Боюсь, я не того рода фотограф, – сказал он. – Я фотографирую не людей, а неодушевленные предметы. Кухонные комбайны, наборы столовых приборов, консервированные супы, все в таком духе.

– Как интересно! – воскликнула я.

Он пожал плечами:

– Есть чем платить герцогу Диру.

– Что?

Надо сказать, я и вправду опешила. Кто бы мог подумать, что случайный знакомец на улице окажется связан с таким знатным родом.

– Герцогу Диру. За квартиру, – пояснил он, и я поняла, что это просто дурацкий рифмованный сленг лондонских кокни. Однако Тому хотя бы хватило такта смутиться.

Я вдруг осознала, что мы идем по тому самому мосту, с которого бросилась Вероника. Меня пробрал озноб. Я никогда прежде тут не бывала. Какое унылое место, чтобы покончить с собой. Впрочем, наверное, не хуже любого другого.

– Вы замерзли? – спросил Том.

Он явно был человеком заботливым и наблюдательным.

Я поплотнее запахнула ворот пальто и улыбнулась.

– Просто здесь, на мосту, ветер.

Мы свернули на широкий проспект, похожий на главную улицу в какой-нибудь деревеньке. Том остановился на перекрестке и указал путь к Эйнджер-роуд. Ребекка Смитт протянула ему руку. Том ее пожал и сказал, что был очень рад познакомиться.

– Взаимно, – сказала Ребекка и пошла прочь.

– И все-таки вы не похожи на сумасшедшую! – крикнул Том ей в спину.

Я была почти уверена, что сейчас он догонит меня и попросит номер моего телефона. Но нет. Выждав довольно приличное время (как-то не хочется выглядеть совсем уж отчаявшейся девицей, истосковавшей по мужскому вниманию), я оглянулась через плечо, но его уже не было на перекрестке.

Эйнджер-роуд оказалась самой обычной улицей с домами стандартной застройки, отделенными от тротуара узенькими, густо заросшими геранью палисадниками, где ржавели детские трехколесные велосипеды. Вдоль тротуара росли какие-то чахлые деревца. Последние ноябрьские листья цеплялись за оголенные ветки, словно знали свою судьбу, но еще с ней не смирились. Повсюду веяло запустением. Дома выглядели мрачными и нежилыми. Нумерация была странной: не как это принято в городах, когда по одной стороне улицы идут дома с четными номерами, а по другой – с нечетными. Здесь номера шли подряд, как бы образуя петлю, так что напротив первого номера располагался последний. Нужный мне дом не отличался от всех остальных⁶. Видимо, его разделили на две квартиры, потому что у входной двери было два звонка, один под другим. Единственным признаком, что здесь находится кабинет знаменитого лондонского психиатра, была картонная табличка с надписью «Бретуэйт», прикрепленная к дверному косяку. До назначенного мне времени оставалось еще сорок минут, и я решила зайти в кафе, которое приметил на проспекте по дороге сюда.

Кафе называлось «У Глинн». Когда я вошла, над дверью звякнул колокольчик. Внутри было пусто, что неудивительно для четырех часов пополудни в будний день. Вся вероятная здешняя клиентура сейчас всю чистит картошку на ужин и готовится встречать с работы мужей. Сидевшая за прилавком дородная женщина средних лет встретила меня кислой улыбкой и проследила, как я усаживаюсь за столик в дальнем углу, где, как мне казалось, я буду не слишком бросаться в глаза. Она подошла ко мне с таким видом, словно мое присутствие в

⁶ Этот дом существует по сей день. Я не указываю точный адрес из уважения к частной жизни его нынешних жильцов. (Примечание автора.)

этом кафе причиняет ей крайнее неудобство. Если это была миссис Глинн, то фамилия очень ей подходила. Было в ней что-то от глиняного голема. Я заказала маленький чайник чая и – в попытке заслужить расположение хмурой хозяйки – булочку с джемом. Над прилавком висела табличка, сообщавшая, что вся здешняя выпечка делается исключительно на сливочном масле, а не на маргарине, «потому что ОН чувствует разницу!». Я понятия не имела, кто такой этот «он», но почему-то задумалась: а почувствовал бы эту разницу Том? Скорее всего, нет. Вернее, его мысли наверняка были бы заняты чем-то поинтереснее, чем ингредиенты для булочек. Тут я с ним солидарна. Я никогда в жизни не пекла булок (не считая того раза на уроке домоводства, о котором лучше не вспоминать) и не собираюсь их печь. В том маловероятном случае, если я все-таки выйду замуж, моему мужу придется обходиться без свежих домашних булочек. Или добывать себе булочки в другом месте, ха-ха. К тому же я совершенно не представляю Ребекку Смитт с ее ухоженными, наманикюренными пальцами перепачканной в муке, хотя если бы ей и пришлось что-то печь, она бы уж точно не опустилась до какого-то плебейского маргарина.

Хозяйка кафе принесла мой заказ. Мои попытки заслужить ее расположение пропали всуе. Она не глядя поставила передо мной чайник и чашку, потом принесла булочку и буквально швырнула тарелку на стол, так что нож упал на пол, и мне пришлось его поднимать. При этом я выжала из себя вежливую улыбку и сказала «спасибо». Я так и не поняла, чем заслужила такое отношение. Видимо, по незнанию нарушила какое-то из правил, действующих в заведении. Или просто была здесь чужой, и со мной можно было не церемониться. Это подозрение подтвердилось, когда над дверью звякнул колокольчик и в кафе вошла старушка в верблюжьем пальто и вязаном шарфе. Она опиралась на трость. На голове у нее красовалась мужская шляпа, утыканная разноцветными перьями. Миссис Глинн преобразилась, словно по волшебству. Она поприветствовала вновь прибывшую – миссис Александр – с таким бурным радушием, что я бы не удивилась, если бы она вышла из-за прилавка и разбросала бы по полу лепестки роз. Старушка уселась за столик у окна, явно зарезервированный за ней на постоянной основе, и заказала чай и кусочек бисквитного торта. Ее заказ, я заметила, был поставлен на стол аккуратно и бережно.

Я достала из сумки книжку. Глупый дамский романчик, недостойный моего внимания. Впрочем, вряд ли у миссис Глинн была склонность к литературному критицизму. Я прочла пару абзацев и задумалась о словах моего нового знакомого: что я совсем не похожа на сумасшедшую. Обычно подобное замечание льстит, но в свете моего сегодняшнего предприятия оно оказалось совсем некстати. Утром я уделила своему внешнему виду гораздо больше внимания, чем обычно, и перед уходом с работы забежала в уборную и поправила макияж. И, похоже, напрасно. Сумасшедшие не стригутся в салонах в элитном Сент-Джонс-Вуде. Не подбирают шелковые шарфы под цвет теней для глаз и не носят чулки из «Питерсона». У сумасшедших нет времени прихорашиваться. Если я приду к доктору Бретуэйту в своем нынешнем виде, он сразу распознает во мне самозванку. Я пошла в туалет в дальнем конце кафе и внимательно посмотрела на себя в зеркало. Сумасшедшие не красят губы, подумала я и стерла помаду тыльной стороной ладони. Потом намочила палец, размазала тушь под глазами и стала похожа на панду, которая страдает бессонницей. Вымыла руки, вынула из прически заколки и растрепала волосы пальцами. Сняла шарф и убрала его в карман. Потом опустила крышку на унитазе и села. Сердце обливалось кровью (эти чулки стоили 10 шиллингов), но я все равно надорвала ногтем левый чулок чуть ниже колена. Отличный штрих, как мне казалось. Ни одна женщина в здравом уме не выйдет из дома в рваных чулках. Я поднялась и опять посмотрелась в зеркало. Похоже, я все-таки перестаралась. Стала похожа на хрестоматийную сумасшедшую на чердаке. Поскольку мне не хотелось, чтобы меня увезли в ближайшую психушку, я намочила кусок туалетной бумаги и стерла черные потеки туши. Пудру тоже пришлось стереть. Наконец я осталась довольна. Я выглядела изможденной и бледной, или, как говорят шотландцы в их колоритной манере, блеклой-квеклой. Мужчины даже не подозревают, сколько мы, женщины,

прилагаем усилий, чтобы навести на себя красоту, но я надеялась, что доктор Бретуэйт оценит мои старания, предпринятые в прямо противоположном направлении.

Я спустила воду в унитазе и вернулась за свой столик. Ножки стула скрипнули по полу, когда я его отодвинула, и хозяйка кафе изумленно уставилась на меня, словно из уборной вышел совершенно другой человек. Мой чай остыл, и мне совсем не хотелось есть, но я намазала булочку маслом и абрикосовым джемом и сосредоточенно ее съела. Надо быть совсем сумасшедшей, чтобы заказать булочку и оставить ее нетронутой! Я подошла к кассе и, не желая, чтобы меня приняли за простушку, которая не отличит булку на сливочном масле от булки на маргарине, похвалила выпечку миссис Глинн.

Она одарила меня недоверчивым взглядом. Я подумала, что сейчас она что-нибудь скажет насчет моего внешнего вида, но она сдержалась и молча выбила мне чек. Я расплатилась и оставила два пенса на блюдечке для чаевых. В надежде, что ее мнение обо мне все же изменится в лучшую сторону.

На улице уже смеркалось. Теперь Эйнджер-роуд казалась не просто заброшенной и обветшавшей, но какой-то зловещей. Я подошла к дому № – и нажала на нижний из двух звонков. Никто не ответил. Я толкнула дверь, оказавшуюся незапертой, и вошла в узкий коридор. У стены стоял старый велосипед. К перилам лестницы была приколот картонная табличка, направлявшая посетителей на второй этаж. Лестницу покрывала потертая ковровая дорожка. Часть перил была выломана, так что подъем получался коварным. Самая что ни на есть подходящая лестница, чтобы сбросить с нее человека, а потом заявить, что он оступился сам. Пахло сыростью. На верхней площадке была всего одна дверь со вставкой из матового стекла. На стекле было написано:

А. КОЛЛИНЗ БРЕТУЭЙТ

Меня почему-то пробрал озноб, и моя затея вдруг показалась мне жутко глупой. Только теперь до меня начало доходить, что это совсем не игра. Из-за двери доносился стук клавиш пишущей машинки, ободряюще знакомый звук. Я постучала и вошла в небольшую приемную. Девушка чуть помладше меня подняла голову от стола и приветливо улыбнулась. Это была блондинка в ослепительно-белой блузке. С голубыми глазами, густо накрашенными ресницами и бледно-розовыми губами. Мне стало неловко за свой расхристанный вид, но потом я напонила себе, что эта девушка, будучи секретаршей у психиатра, наверняка видала и не такое.

– Добрый вечер, – сказала она бодрым голосом. – Вы, наверное, мисс Смитт?

– Да. С двумя «т», – уточнила я безо всякой необходимости.

Она предложила мне сесть. Ее, похоже, совсем не смутил мой неряшливый вид. У стены под окном стояли три деревянных разнокалиберных стула и столик со стопкой журналов. Разрозненные номера «Панча» и «Частного сыска». Я села и положила ногу на ногу, чтобы скрыть дыру на чулке.

– Так бесит, когда они рвутся, – сказала молоденькая секретарша. – Буквально вчера я испортила новую пару.

Я изобразила непонимание, потом удивленно уставилась на свою коленку.

– Ой, я не заметила. Как неловко!

– У меня есть запасные чулки. Они совсем новые. Если хотите, могу вам отдать, – предложила она совершенно по-свойски. – А вы мне потом принесете другие такие же. Когда придете в следующий раз.

Ее предложение показалось мне неподобающе панибратским. И она явно переусердствовала с макияжем. У моей мамы была собственная шкала определений для женщин, которые, с ее точки зрения, украшали себя сверх меры: размалеванная кукла, Иезавель, блудница и (когда она думала, что нас сестрой нет поблизости) шлюха. Она сама никогда в жизни не пользовалась косметикой и не одобряла наряды, которые не скрывают фигуру, а выставляют ее напоказ. «Вы

когда-нибудь слышали, чтобы мужчина грыз яичную скорлупу, а белок и желток оставлял на тарелке?» – так она говорила. Мамины заявления лишь разжигали во мне любопытство. Если она называла какую-то женщину Иезавелью, это всегда была самая яркая и привлекательная из всех женщин в пределах видимости. Боже упаси, чтобы папа, пусть даже случайно, взглянул на такую Иезавель. Определение «шлюха» относилось, как правило, к французским актрисам, согрешившим вдвойне: мало того, что актрисы, так еще и француженки. Когда я начала подрабатывать по выходным в обувном магазине и у меня появились свои деньги, я тратила их на запретные удовольствия, а именно на губную помаду и румяна. По вечерам я запиралась у себя в комнате, поставив стул спинкой под дверную ручку, доставала припрятанную косметику и превращала себя в Иезавель. А потом ублажала себя перед зеркалом, замороженная своими алыми губами и нарумяненными, как у блудницы, щеками.

Я вежливо отказалась от предложения секретарши и взяла со стола номер «Панча». Рассеянно перелистнула пару страниц, потом положила раскрытый журнал на колени и тупо уставилась в одну точку. Я рассудила, что мне не пристало интересоваться событиями в мире. У меня вроде как *déprimé*⁷. Стало быть, надо изобразить пустой тусклый взгляд. Без сомнения, мисс Запасны Чулки позже поделится впечатлениями обо мне со своим шефом. Она опять стала печатать. Мне всегда нравился стук клавиш пишущей машинки. Однако здешняя секретарша печатала, увы, неумело и постоянно сбивалась. Видимо, в соответствии с печальной тенденцией нашего времени ее приняли на работу за яркую внешность, а не за канцелярские навыки.

Я сосредоточила внимание на стене над столом секретарши. Безобидный, неброский цветочный узор на обоях предположительно предназначался для успокоения мятущихся душ, вынужденных созерцать эти обои как минимум раз в неделю. Однако вскоре я заметила под потолком, на высоте около восьми футов от пола, крошечный надрыв на обоях размером примерно с ноготь большого пальца. Надорванный кусочек загнулся ушком, и под ним виднелась бумажная подложка. Это было как-то странно. Если обои надорвались во время поклейки, то почему же мастера не исправили недочет? Они же должны позаботиться о качестве своей работы. Возможно, у меня не слишком богатое воображение, но я совершенно не представляла, как этот кусочек мог оторваться сам по себе уже после ремонта. Как бы там ни было, это бумажное «ухо» начало меня раздражать. До такой степени, что у меня сжалось горло и мне стало трудно дышать. Я была рада, что сняла шарф. Меня подмывало сказать секретарше, что надрыв надо заклеить. Если она такая запасливая, что держит в столе запасные чулки, у нее наверняка найдется клей или скотч. Я могу ей помочь. Если кто-то из нас встанет на стол, то легко дотянется до нужного места. Но я ничего не сказала. Мне не хотелось, чтобы меня приняли за совсем чокнутую. Всему есть предел.

Наконец дверь кабинета доктора Бретуэйта открылась, и в приемную вышла стройная женщина лет тридцати в кашемировом платье длиной до колен. Ее темно-каштановые волосы были уложены в модную прическу. На мой взгляд, она совершенно не походила на человека, нуждающегося в психиатрической помощи. Наоборот. Она сняла шубу с вешалки-стойки у двери и неторопливо ее надела. Похоже, ее совсем не смущало, что ее видят в приемной у психиатра. Она взглянула на меня, но я продолжала изображать легкий ступор. Уже у выхода она сказала:

– До свидания, Дейзи.

Секретарша жизнерадостно отозвалась:

– Ждем вас в четверг, мисс Кеплер.

⁷ Депрессия (фр.).

Меня удивило, что такая роскошная и спокойная с виду женщина ходит к доктору Бретуэиту не раз в неделю, а целых два. Видимо, у нее сложный случай, хотя если бы я встретила ее на улице, то посмотрела бы с завистью.

Я поднялась на ноги, но Дейзи сказала, что доктор Бретуэйт примет меня через пару минут. Я посмотрела на часы. Внутри у меня все сжалось, но, как сказала бы моя мама, я сама постелила себе постель. А раз постелила – ложись. Спустя пару минут, без всякого очевидного знака из кабинета, Дейзи сказала, что мне уже можно входить.

Великий и ужасный доктор Бретуэйт сидел за столом и что-то писал в тетради. Я бы многое отдала, чтобы заглянуть в эту тетрадь! Через пару секунд он посмотрел на меня, закрыл тетрадку и поднялся мне навстречу. На нем была фланелевая рубашка, расстегнутая у ворота, коричневые вельветовые брюки и коричневые ботинки, почему-то с развязанными шнурками.

– Мисс Смитт! – радостно воскликнул он. – Или миссис?

Он подошел ко мне, заранее протянув руку для рукопожатия. Мы поздоровались, и я сказала, что я не замужем, а значит, мисс. В жизни он был совсем не такой безобразный, как на телеэкране. Его глаза, пусть немного навывкате, *dans la vraie vie*⁸ были ясными и живыми. Он выглядел гораздо моложе, чем я помнила по передаче, но не зря говорят, что телекамера добавляет и веса, и возраста.

– Прошу садиться. Где вам больше нравится, – сказал он в манере фокусника, предлагающего кому-то из зрителей загадать карту. Его кабинет напоминал захлавленную гостиную или, лучше сказать, холостяцкую берлогу. Всю стену за письменным столом и по бокам от двери занимали книжные полки. Стопки книг и газет стояли прямо на полу. Выходившие на улицу окна запотели до такой степени, что по ним текли капли воды. Единственным предметом обстановки, отвечающим рабочему назначению этой комнаты, был металлический архивный шкаф, покрашенный в зеленый цвет. Верхний ящик с картотекой был выдвинут до предела. Меня прямо-таки подмывало подойти и задвинуть его на место. Я посмотрела, куда можно сесть. Выбор был невелик: потертое кожаное кресло, неудобное с виду плетеное кресло с высокой изогнутой спинкой и подоконный диванчик, накрытый трикотажным пледом. У меня по спине побежали мурашки, когда я поняла, что это, наверное, и есть тот самый диванчик, на который, как выразился Бретуэйт в своей книге, укладывалась Вероника «если не совсем томно, то близко к тому» (что совсем на нее не похоже; моя сестра никогда в жизни не делала ничего «томно» и даже близко к тому). В центре комнаты стоял невысокий журнальный столик с переполненной пепельницей, деревянной резной сигаретницей и картонной коробкой с бумажными салфетками. Мне пришло в голову сесть за стол, просто чтобы проверить, как отреагирует Бретуэйт, но я решила, что лучше не надо. В итоге я присела на диванчик, с правой его стороны. Бретуэйт кивнул, словно заранее предположил, что именно там я и сяду. Он вытащил из-за стола стул и уселся напротив меня. Вытянул ноги вперед и скрестил лодыжки. Я обратила внимание, что он без носков. Он сложил руки на животе и спросил:

– Нашли нас без проблем?

Я кивнула. У него было рябое лицо, на висках уже серебрилась первая седина. Я знала, что ему сорок, и именно столько я бы ему и дала, если бы меня попросили определить его возраст наугад.

– И что привело вас сюда, мисс Смитт? – спросил он, и его тон явно предполагал, что пора перейти к делу. Он ждал ответа, не проявляя ни малейшего нетерпения. Он обвел меня пристальным взглядом от растрепанных волос до кончиков туфель. На долю секунды его взгляд задержался на дырке у меня на чулке, его брови чуть шевельнулись, выдав удивление, и я подумала, что не зря выбросила на ветер десять шиллингов.

– Я не знаю, с чего начать, – уклончиво проговорила я.

⁸ В реальной жизни (*фр.*).

Он развел руки в стороны и сказал:

– Давайте начнем с того, что вас заставило записаться ко мне на прием.

– Да.

Я знала, что он привык иметь дело с поведением, скажем так, своеобразным. При его профессии этого не избежать. Нормальные люди, пришедшие на платную консультацию, не стали бы тратить зря время, а постарались бы рассказать доктору Бретуэйт как можно больше, чтобы окупить свои деньги. С другой стороны, нормальные люди и вовсе не стали бы к нему обращаться.

– Наверное, мне было бы проще, если бы вы называли меня Ребеккой, – сказала я.

– Как вам угодно, – ответил он. – А как вам было бы проще обращаться ко мне? –

Он секунду помедлил и предложил несколько вариантов на выбор: – Можно «доктор Бретуэйт» или просто «Бретуэйт», если вы предпочитаете общаться на официальной основе. Мать называла меня Артуром, друзья называют Коллинзом, враги... впрочем, тут лучше не углубляться. – Он рассмеялся над собственной шуткой. Как я поняла, все это делалось для того, чтобы меня успокоить. Или сбить меня с толку, чтобы я потеряла бдительность. – Так что же?

У него была странная, какая-то рваная манера речи.

– Если вы называете меня Ребеккой, то я буду вас называть Артуром.

Я посмотрела на свои руки, лежащие на коленях. Вчера вечером я накурила ногти, и аккуратный маникюр никак не вязался с моим расхристанным видом. Хотя, наверное, так даже лучше. Только совсем сумасшедшая женщина будет так тщательно следить за ногтями, но при этом выйдет из дома в рваных чулках. Обычно мужчины не замечают подобных вещей, но у меня складывалось впечатление, что от внимания доктора Бретуэйта не укроется ни одна мелочь. Я уже пожалела, что выбрала «Артура». Обращение к человеку по имени предполагает определенную степень близости, в данном случае неуместной. Также мне не хотелось, чтобы он подумал, будто я ассоциирую себя с его матерью или пытаюсь примерить на себя материнскую роль. У меня никогда не было таких устремлений. У меня напрочь отсутствует материнский инстинкт. Я ненавижу детей с их чумазыми лицами, разбитыми коленками и производимым ими адским шумом (почему они вечно шумят?!). И я уже не говорю об ужасах деторождения или грязных постельных утех, ведущих к зачатию.

Бретуэйт кивнул.

– Итак, Ребекка?

Он был весьма обходителен и любезен (в конце концов, в настоящий момент тратились не его деньги), но я поняла, что мне надо хоть что-то сказать. Странно было бы записаться на прием к психиатру, а потом делать вид, будто с тобой все в порядке.

– В последнее время... – Я обвела взглядом комнату, словно в поиске нужных слов. – Мне как-то тревожно. Меня постоянно одолевает беспричинная тревога. – Я была очень довольна этой последней фразой.

– Тревога! – повторил Бретуэйт. – Как я вас понимаю, Ребекка! Со всем, что сейчас происходит в мире, каждый будет тревожиться. Я сам, знаете ли, постоянно тревожусь.

– Это еще не все, – сказала я. – У меня ощущение, что я потеряла себя.

Он как будто развеселился. Весь просиял, вскочил со стула, подбежал к моему диванчику и принялся театрально переворачивать подушки. Потом опустился на четвереньки и заглянул под диван. Поднялся на ноги, подошел к двери, открыл ее и обратился к Дейзи:

– Мисс Смитт не забыла в приемной себя? Нет? – Он закрыл дверь, не дожидаясь ответа, и обернулся ко мне: – Может, оно у вас в сумке? Содержимое дамских сумочек всегда было для меня загадкой. Даже большей загадкой, чем содержимое женских голов, ха-ха. – Он поднял с пола мою сумочку. На мгновение я испугалась, что сейчас он откроет ее и найдет дохлую мышь, завернутую в салфетку. Но он вручил сумку мне и сделал знак, чтобы я заглянула внутрь. – Там тоже нет? – спросил он, когда я послушно открыла сумочку.

Он уселся на стул, озадаченно нахмурился и сказал:

– Давайте подумаем. Вы говорите, что потеряли себя. Попробуйте вспомнить, когда и где вы его видели в последний раз.

Мне показалось, что он надо мной издевается. Так я ему и сказала.

– Ни в коем случае, Ребекка. Потеря себя – это очень серьезно. И я спрашиваю всерьез: когда и где вы его видели в последний раз?

Я провела в его обществе считанные минуты, но уже поняла, почему многие им восхищаются. Неопрятная внешность, как ни странно, лишь добавляла ему очарования. Он не нуждался в строгом костюме и галстуке, чтобы укрепить собственный авторитет. Он обладал тем самым качеством, которое обсуждается повсеместно, но редко встречается в реальной жизни: мощной харизмой. Сразу было понятно, что Коллинз Бретуэйт может вертеть тобой, как захочет. Это одновременно пугало и завораживало. Теперь я поняла, почему мисс Кеплер ходит к нему два раза в неделю.

– Я не знаю, – сказала я в ответ на его вопрос.

– Ну и ладно, – бодро проговорил он. – Ничего страшного. Раз оно потерялось, значит, оно не такое уж и замечательное. Может быть, вам без него даже лучше.

Я не знала, что на это сказать. Если он имел целью меня озадачить, то у него получилось.

До конца часа оставалось еще много времени, и я рассказала доктору Бретуэйту о себе. Вернее, о Ребекке. У нас с Ребеккой было много общего, но, чтобы он не догадался о моем близком родстве с Вероникой, мне пришлось изменить некоторые детали. (Тут, наверное, стоит отметить, что внешне мы с Вероникой совсем непохожи. Она была темноволосой, как наша мама, с толстыми щиколотками и, если так можно сказать, грубоватым лицом. Я сама далеко не красавица, но у меня довольно тонкие черты. Если я – вторая леди де Уинтер в исполнении Джоан Фонтейн, то Вероника – миссис Денверс из того же фильма.) Как известно, всему свое время, и сейчас было явно не время говорить всю правду. Я сказала доктору Бретуэйту, что моя мать умерла и теперь я живу вдвоем с отцом, архитектором на пенсии. Я решила, что Ребекка будет единственным ребенком в семье (всегда отчаянно одиноким), но она, как и я, работала секретаршей в театральном агентстве.

Бретуэйт почти не задавал мне вопросов. Уже потом, задним числом, я поняла, что он вообще говорил очень мало. Зато я говорила не умолкая. Из меня просто лился поток слов. Позже мне стало неловко, что я разглагольствовала о себе, словно была интереснейшей женщиной во всем Лондоне. Но Бретуэйт добросовестно слушал и даже ни разу не посмотрел на часы. Надо сказать, слушать он умел. Мне еще никогда не встречались такие внимательные собеседники. Я мало что помню из того, что говорила. Но помню, что мне стоило колоссальных усилий не выйти из образа. Я забыла об истинной цели своего визита. Я поняла, что мне хочется понравиться Бретуэйту. В какой-то момент он просто молча поднялся со стула, и чары как будто рассеялись. Видимо, он давал мне понять, что время сеанса закончилось. У меня было странное ощущение, словно я впала в транс, и я даже подумала, что Бретуэйт меня загипнотизировал. Я взяла сумочку и пошла к выходу, чувствуя легкую слабость в ногах.

Бретуэйт стоял между диваном и дверью. Когда я шагнула к двери, он чуть сдвинулся, преградив мне дорогу. Я была вынуждена остановиться. Мы стояли почти вплотную друг к другу, и мне было неловко. Он ко мне не прикасался, он меня не держал, но я все равно чувствовала себя пленницей.

– Было приятно с вами пообщаться, Ребекка, – сказал он. – Если хотите прийти сюда снова, скажите Дейзи. Она вас запишет.

Я слегка растерялась.

– А вы как считаете? – спросила я. – Надо мне приходиться или нет?

Бретуэйт махнул рукой, словно бросил монетку уличному беспризорнику.

– Решать только вам.

– Но как вы считаете, вы сумеете мне помочь? – спросила я.

– Вопрос не в том, сумею ли я вам помочь. Вопрос в том, верите ли вы сами, что я сумею помочь. – Он выразительно посмотрел на меня своими выпученными глазами. Я почувствовала себя совершенно беспомощной.

– Я думала, вы сможете меня вылечить, – тихо проговорила я.

Он фыркнул от смеха.

– Мисс Смитт, *Ребекка*. Здесь никто никого не «лечит». Лечение занимаются шарлатаны, и, видит Бог, меня и так уже многие считают таковым. Во-первых, сама идея лечения предполагает, что вы априори больны, просто вам еще не поставили диагноз. И, во-вторых, если с вами действительно что-то не так, вряд ли оно поддается лечению.

– Но если меня нельзя вылечить, то какой смысл мне сюда приходить?

– Это, опять же, вопрос не ко мне, – сказал он. – Тут решать только вам. Но сам факт, что вы думаете, будто у вас есть проблемы по психологической части, уже предполагает, что вы гораздо разумнее многих.

Он отступил в сторону, освободив мне проход. Я вышла в приемную и записалась на следующую консультацию. Дейзи сказала, понизив голос:

– Значит, ждем вас на следующей неделе.

Может быть, из-за этого «ждем» во множественном числе, может быть, из-за ее почти заговорщического шепота, но у меня было чувство, что меня приняли в какой-то тайный подпольный клуб.

На улице я подошла к первому же фонарному столбу и стала рассматривать проржавевшую краску, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Как будто пыталась прочесть тайные письмена. Я подумала, что доктор Бретуэйт наверняка будет подглядывать за мной из окна. Будь я психиатром, я бы точно подглядывала за пациентами, выходящими после сеанса. Мне кажется, из меня получился бы неплохой психиатр. Папа всегда говорит, что у меня есть талант выявлять недостатки и слабости других людей.

Я потерла краску пальцем, потом достала из сумочки пилку для ногтей и принялась полировать столб. Если Бретуэйт смотрит, то пусть решит, что я совсем сумасшедшая. Я представляла, что он сейчас думает: «Бедная девочка! Она так старалась казаться нормальной». Может, он даже позвал к окну Дейзи: «Посмотри на нее. Кажется, у нас тут тяжелый случай». Чуть погодя я осмотрела свою работу, кивнула, будто довольная результатом, и убрала пилочку в сумку. Добрела до конца улицы неуклюжей, спотыкающейся походкой, завернула за угол и, убедившись, что никто не идет за мной по пятам, выпрямила спину и пошла дальше уже нормально. Я была рада опять стать собой. Мысленно я поздравила себя с замечательным выступлением. Ребекка, как мне показалось, справилась на «отлично».

Я оказалась на людной улице, идущей вдоль парка. У меня есть привычка – возможно, это мой пунктик – никогда не возвращаться домой той же дорогой, которой я уходила из дома. Если я возвращаюсь по собственным следам, у меня возникает тревожное ощущение, что я запутываюсь в себе. Когда я думаю о Тесее, выходящем из лабиринта по путеводной нити, я всегда представляю, как эта нить оплетает сперва его стопы, потом – ноги и тело, и вот он уже полностью связан и не может сделать больше ни шагу. Это я объясняю, почему я решила вернуться на станцию другой дорогой. Как ни странно, но я никогда в жизни еще не бывала в Примроуз-Хилл, и мне даже в голову не приходило, что тут и вправду есть холм. По-моему, название «Холм первоцветов» совсем не подходит для парка в Лондоне, а подходит скорее для какой-нибудь деревеньки в Девоне или любой другой сельской глуши (я ненавижу деревню во всех ее проявлениях). Но вот он: Примроуз-Хилл. Я пошла вдоль ограды и в конце концов вышла к воротам.

Было где-то без четверти шесть, и на улице уже стемнело. Из-за непрестанного гула машин казалось, что сам холм тихонько гудит и подрагивает. Он был словно раздутый живот,

готовый лопнуть и выплеснуть накопившийся подземный гной. Что-то тянуло меня к нему. Народу в парке было немного, человеческие фигуры равномерно распределялись в пространстве, как будто их нарочно расставили именно так. По тропинке, ведущей к вершине, поднимался мужчина с черной собакой на поводке. Оба шагали медленно и неохотно, словно восходили на эшафот. Я пошла по дорожке вдоль подножия холма. Недавно был дождь, и асфальт влажно блестел. В сгустившихся сумерках трава казалась серебристой. Все вокруг было каким-то неправильным, скособоченным. Горизонт располагался не на своем месте. Надо мной нависал холм. Мне хотелось сложиться, как лист бумаги.

У края дорожки стоял предмет. Из четырех деревянных досок примерно шести футов в длину. Две доски располагались параллельно земле на высоте около двух футов, еще две доски – под прямым углом к нижним, одна над другой. Вся конструкция держалась на двух боковых крепежах из кованого железа. У каждого было две ножки с распорками. Между парами ножек, ниже горизонтальных досок, проходили железные брусья; видимо, для устойчивости. Конечно, я знала, что это скамейка. Было бы странно не знать. Но в те мгновения она показалась мне неким зловещим, затаившимся в темноте существом вроде гигантского таракана или краба, поджидающего добычу, чтобы схватить ее, утащить в ближайшие кусты и сожрать. Я стояла перед этой скамейкой, наверное, целую минуту. Я не бросилась прочь со всех ног. Это была просто скамейка. Будто бы желая проверить свою убежденность, я на нее села. Поставила сумку на землю и прижала ладони к сиденью. Облупившаяся краска была шероховатой на ощупь. Я сделала несколько медленных вдохов и выдохов. Я ощущала, как Лондон пульсирует у меня в венах. Я закрыла глаза и прислушалась к грохоту города. Потом легла на скамейку с ногами и перевернулась лицом вниз, вытянув руки по швам. Скамейка словно давила на меня снизу. Я ощущала губами старую потрескавшуюся краску. Я неуверенно лизнула ее кончиком языка. Вкус был горьким, слегка металлическим. Деревянные доски пахли как сырая лесная земля. Пульсация города стала настойчивее. Я почувствовала, как скамейка отрывается от земли и поднимается в небо. Я еще крепче зажмурилась и схватилась за края сиденья. Огни и улицы Лондона остались далеко внизу. Мы поднялись к облакам по широкой дуге. Это был настоящий восторг. Не знаю, долго ли длился полет, но уж точно несколько минут. Потом я услышала голос. Ощущение было такое, что я крепко спала и меня разбудили. Я открыла глаза. Надо мной склонился какой-то мужчина.

– Девушка, вам плохо? – встревоженно спросил он и, похоже, не в первый раз.

Я села как полагается, опустив ноги на землю. Рядом с мужчиной стоял большой пес, черный лабрадор. Наверное, это был тот же самый мужчина с собакой, которого я видела раньше. Он смотрел на меня с искренним беспокойством.

– Вовсе нет, – сказал я. – С чего бы мне было плохо?

Он указал на скамейку, словно это все объясняло.

– У вас могли украсть сумку.

Тут он был прав.

– Да, верно, – сказала я. – Спасибо.

Я подняла сумочку и положила ее на колени. Мужчина кивнул и пожелал мне хорошего вечера. Я осталась сидеть, пока он не скрылся из виду.

Естественно, я опоздала на ужин, который у нас дома подают ровно в шесть вечера. Миссис Ллевелин молча принесла мне суп, но не ушла из столовой, а прислонилась к буфету и стала смотреть, как я ем. Она даже не потрудилась его разогреть. Она явно меня провоцировала, но я съела все, что было в тарелке. Миссис Ллевелин так же молча забрала пустую тарелку и принесла с кухни кусок запеченной свинины. Видимо, мясо держали в духовке, потому что оно было теплым. В качестве гарнира мне достались три соцветия брокколи – из всех овощей больше всего я ненавижу брокколи – цвета унылых больничных стен. Лужица подливки напоминала засохшую кровь на простыне. К счастью, миссис Ллевелин не стала стоять у меня над

душой, пока я ела второе. Я прожевала пару кусочков мяса, а все остальное, что было в тарелке, стряхнула в сумку, чтобы позже спустить в унитаз. Вернувшись в столовую, миссис Ллевелин не смогла скрыть изумления, что я все-таки съела столь неаппетитное блюдо. Это была моя маленькая победа. В награду я получила порцию бланманже с кусочками консервированных мандаринов. Бланманже – мой любимый десерт. Его даже не надо жевать. Мне нравится подержать его на языке и дать соскользнуть в горло. Я представляю, что это кораблик, выходящий из гавани в открытое море. Кусочки мандаринов я аккуратно выковыряла ложкой и оставила на тарелке. В их текстуре и форме было что-то скабрёзное.

Я ушла из столовой, не дожидаясь очередного возвращения миссис Ллевелин, и пошла к папе в гостиную. Он оторвался от своей газеты и ласково мне улыбнулся.

– Добрый вечер, папа, – сказала я.

Да, я знаю, что когда женщина моего возраста обращается к отцу «папа», это звучит по-детски слащаво и вообще странно. Но тут нет никакой многозначительной подоплеки. Это просто привычка, с которой я не хочу расставаться, потому что иначе получится, будто я делаю некое заявление; вроде как расширяю дистанцию между нами. Тем более что нет никаких подходящих альтернатив. Короткое «пап» звучит по-плебейски: серый, пресный на языке слог. «Отец» – как-то уж слишком формально при личном общении; а обращаться к родному отцу по имени – просто вульгарно. У нас тут, хвала небесам, не Америка.

– Вот и ты, милая, – сказал он. – Мы за тебя волновались.

Я ненавижу, когда отец говорит «мы» о себе и миссис Ллевелин, словно они одно целое. И в любом случае я никогда не поверю, что миссис Ллевелин стала бы за меня волноваться. Ничто, как мне кажется, не порадует ее больше, чем звонок из полиции с сообщением, что меня переехал автобус.

– Встречалась с молодым человеком, я так понимаю, – поддразнил меня папа, но я сделала непроницаемое лицо и сказала, что мистер Браунли попросил меня задержаться, поскольку у него была важная встреча и ему требовалось мое присутствие. Мне нравилось делать вид, будто я незаменима, хотя, если по правде, с моей работой справилась бы и мартышка, если научить ее печатать на машинке. Папа выразил надежду, что мистер Браунли платит мне сверхурочные. Я села в кресло напротив него.

Папа снова уткнулся в газету. Он решал кроссворд. Мне нравится сидеть с папой в гостиной по вечерам. Говорить нам особенно не о чем, но нам уютно молчать вдвоем. И все же я знаю, что я для него стала разочарованием. Его любимицей была Вероника. Да, он старался никак этого не проявлять; баловал меня даже больше, чем Веронику, но он никогда не смотрел на меня таким взглядом, каким смотрел на нее. После ее смерти он сам словно утратил вкус к жизни. Я пытаюсь его подбодрить, но пока безуспешно. Он буквально убит горем. Естественно, в его присутствии никогда не произносится слово «самоубийство». Это был несчастный случай. Думать иначе – значит очернить память о Веронике.

Отец сильно подорвал здоровье еще в Индии, где заболел малярией. Он был инженером, и вскоре после того, как они с матерью поженились, его пригласили работать в Калькутту. Там он курировал строительство моста Ховра через реку Хугли. В Калькутте родилась Вероника, и поскольку она была смуглой и черноволосой, папа называл ее «моя маленькая индианочка». Мама ненавидела Индию и была рада, когда болезнь мужа ускорила их возвращение в Англию. Они вернулись домой в 1940-м, когда мама была беременна мной, так что, наверное, и во мне тоже есть частичка Индии. Мама вечно твердила, что на обратном пути ее мучила страшная тошнота, и она даже не знает, что было хуже: морская болезнь или утренний токсикоз. До конца жизни она обвиняла во всех бедах Индию; встречая на улице человека в тюрбане, она отворачивалась и демонстративно подносила к носу надушенный платок.

Я спросила у папы, не помочь ли ему с кроссвордом.

– Да. Я, похоже, застрял, – сказал он и прочел вслух подсказку.

– Бред как он есть, – сказала я. Это наша с ним шутка. Каждый раз, когда он мне читает подсказки в кроссворде, я говорю эту фразу.

– Восемь букв. Вторая «а», седьмая тоже «а». – Он еще раз прочел подсказку, чуть ли не по слогам: – Фруктовое лакомство, содержит мел.

Он сто раз мне объяснял, в чем прелесть кроссвордов, но с тем же успехом он мог бы говорить со мной по-бенгальски. Все эти кроссворды, пазлы и прочие головоломки всегда казались мне пустой тратой времени. Зимними вечерами папа с Вероникой могли часами сидеть за столом, собирая какой-нибудь пазл. Картинка, которая должна получиться, – неизменно либо старинный замок, либо железнодорожный вокзал, – была напечатана на крышке коробки. Зачем тратить время, соединяя кусочки, если и так уже видно, что это будет? Когда я задавала им этот вопрос, они лишь закатывали глаза и продолжали молча сортировать картонные кусочки. Однажды, когда они оба вышли из комнаты, я схватила со стола три кусочка пазла и на следующий день выбросила их в канаву по дороге в школу. Позже, когда обнаружилось, что пазл неполный, мне стало стыдно. Ни папа, ни Вероника ни в чем меня не обвиняли, но мне кажется, что они сразу поняли, кто виноват.

Папа получает хорошую пенсию и в дополнение к ней пишет книги о мостах. Вернувшись в Англию из Калькутты, он написал свою первую книгу, «Великие мосты Индии», просто для собственного развлечения. Он собрался издать ее как монографию для узкого круга специалистов, но издатель, к которому он обратился, неожиданно объявил, что подобная литература пользуется спросом у довольно широкой аудитории. Книга имела успех, и, поломавшись для виду, папа поддался на уговоры издателя и написал еще несколько книг той же серии: «Великие мосты Африки», «Великие мосты двух Америк» и так далее. Среди «мостовых» энтузиастов он стал знаменитостью и, конечно, гордится своими успехами, но относится к ним с определенной долей иронии. До недавнего времени он читал лекции для членов любительских инженерно-строительных обществ. Эти лекции – куда отец часто брал нас с Вероникой, когда мы были маленькими, – проходили в обшитых деревом конференц-залах или в церквях, где присутствовали исключительно седовласые дяденьки в твидовых пиджаках. Он не без гордости говорил, что единственной женщиной, которая прочла все его книги, была Вероника. Все его лекции начинались всегда одинаково: «Разница между поэтом и инженером заключается в том, что для инженера мост – это зримое воплощение математических вычислений, а для поэта мост – это символ». Он сам инженер, так говорил отец, и для него математика – это поэзия. Эту сентенцию неизменно встречали одобрительным гулом, иногда даже аплодисментами, и мне нравилось наблюдать, как отец смотрел в пол и скромно улыбался, принимая признание публики. Однако в последние годы здоровье не позволяет ему выступать с лекциями. Даже подняться по внутренней лестнице у нас в квартире для него уже подвиг. Он клянется, что каждая новая книга будет последней. В любом случае у него уже кончаются части света.

– Мармелад! – вдруг воскликнул отец. – Он содержит *слог* «мел». На самом деле все просто!

– Да, конечно, – сказала я.

Он записал ответ в клеточки и перешел к следующему слову. Я поднялась, поцеловала отца в щеку и сказала, что пойду спать. У нас двухэтажная квартира. На нижнем уровне располагаются прихожая, кухня, кладовка, столовая, гостиная, папин кабинет и туалет. На верхнем, под самой крышей, – три спальни, вторая кладовка и ванная. Миссис Ллевелин сейчас занимает бывшую комнату Вероники. Моя спальня находится между ее комнатой и отцовской. Миссис Ллевелин строго-настрого запрещено заходить на мою территорию, но я все равно запираю дверь, когда ухожу из дома, и ношу ключ в сумочке. По ночам я оставляю дверь чуть приоткрытой, чтобы быть уверенной, что между ними двумя не происходит никаких шалостей. Свои вещи, предназначенные для стирки, я складываю в плетеную корзину, стоящую в коридоре.

Поднявшись к себе, я переоделась в ночную рубашку и смыла остатки макияжа перед зеркалом на трюмо. В уголках глаз уже появились крошечные морщинки. Я растянула кожу пальцами, чтобы они исчезли. Кажется, я потихонечку превращаюсь в старую клюшку. Я решила, что надо есть больше свежих овощей и фруктов.

Бретуэйт I: Ранние годы

Артур Коллинз Бретуэйт родился в Дарлингтоне 4 февраля 1925 года. Его отец, Джордж Джон Бретуэйт, был довольно успешным местным предпринимателем. Джордж родился в 1892 году в семье железнодорожных служащих. Как все мужчины в его роду, он был коренастым и крепко сбитым. На сохранившихся фотографиях мы видим красивого молодого человека с густыми непослушными кудрями и пронзительными темными глазами. Во время Первой мировой войны он участвовал в боях за Верден, а в 1917-м был ранен шрапнелью и отправлен на лечение в госпиталь в Сассексе. Там он познакомился с медсестрой по имени Элис Луиз Коллинз.

Элис была дочерью викария из соседней деревни Этчингем. Хорошенькая, но совершенно наивная девушка двадцати лет, с нежными карими глазами и светлыми волосами. Джордж развлекал ее рассказами о своих приключениях на фронте и бурной юности в «Дарло». Со стороны они казались странной парой: энергичный, говорливый северянин и застенчивая тихоня из домашнего графства, – но, когда у Элис бывали выходные, они проводили их вдвоем, гуляя в полях, окружавших деревню. Джордж полностью выздоровел и накануне отправки обратно на фронт сделал Элис предложение. Она так оробела, что не сказала ни «да», ни «нет». Ведь Джордж еще даже не познакомился с ее отцом. На что Джордж ответил: «Какой же отец не одобрит такого зятя?» Так случилось, что война закончилась уже через пару недель, и Джордж, даже не сняв военной формы, прибыл в дом викария в Этчингеме. Ему хватило ума сыграть роль скромного и почтительного будущего зятя, и к тому же героя войны (он был трижды представлен к наградам за отвагу и доблесть, проявленные в боях). Вскоре он получил свой ответ. Через полтора месяца они с Элис поженились. Венчание провел самолично отец невесты.

Новобрачные вернулись в Дарлингтон и сняли крошечный двухэтажный кирпичный домик на Картмелл-Террас. Джордж открыл скобяную лавку в Клакс-Ярде, но уже через два года расширил дело и перебрался на более оживленную улицу Скиннергейт. Он оказался умелым и хватким дельцом и позже открыл филиалы «Бретуэйта» в Дареме, Хартлпуле и Мидлсборо. Первые четыре года жизни Артур спал в детской кроватке в родительской спальне. Он утверждал, что хорошо помнит себя в эти ранние годы. Их первый дом, как он писал позднее, был «холодным, сырым и темным». По ночам он притворялся, что спит, но ему было слышно, как отец по-звериному пыхтит на супружеском ложе. Маленькому Артуру очень хотелось забраться в постель к матери, но он боялся «чудовища», что лежит рядом с ней.

Артур был младшим из троих сыновей. Его старших братьев звали Джордж-младший (родился в 1919 г.) и Эдвард, или Тедди, как его называли домашние (родился в 1920-м и получил имя в честь отца Элис). Когда Артур пошел в первый класс, семья переехала в двухквартирный дом на Уэстлендс-роуд на окраине престижного района Кокертон. Здесь у Артура появилась своя отдельная комната с окном, выходившим в маленький садик на заднем дворе. Джордж неустанно рассказывал каждому, кто был готов слушать, что, несмотря на свое скромное происхождение, он добился немалого положения в обществе. Он получил членство в местной Торговой палате, вступил в Консервативный клуб и дважды выдвигался кандидатом в депутаты парламента на Общих выборах в 1931 и 1935 годах.

Элис так и не сумела привыкнуть к жизни в Дарлингтоне. Тихая и замкнутая по натуре, она плохо сходилась с людьми и не завела себе новых подруг. Джордж с утра до ночи занимался своими торговыми точками, а по воскресеньям водил сыновей на долгие прогулки по пустошам Норт-Йорк-Мурс. Элис, чья жизнь в Этчингеме состояла из церковных мероприятий, сельских праздников и тихих радостей чтения по вечерам, пугали суровые северные пейзажи, как и здешние люди с их грубым акцентом. В одном из писем к сестре, отправленных через несколько месяцев после свадьбы, она писала: «Здесь все душное, темное. Я себя чувствую воробушком в

стае ворон». Джорджа – человека активного, энергичного и компанейского – начала раздражать необщительность и замкнутость супруги. «Что ты вечно сидишь взаперти? – говорил он. – Уже пора вылезать из норы». Все, чем он так привлекал Элис вначале, теперь стало поводом для размолвок.

Джордж никогда не устраивал себе отпуск. Покупатели, говорил он, не станут ждать, пока он отдохнет. Они уйдут к конкурентам и уже не вернутся. Однако два раза в год Элис ездила на юг повидаться с семьей. С течением лет эти поездки становились все более продолжительными. Летом 1935 года у ее отца случился инсульт, приковавший его к постели, и у Элис появилась причина задержаться в родительском доме подольше. К семье она так и не вернулась. Десятилетний Артур очень остро переживал расставание с матерью, однако его отец отнесся к сложившейся ситуации со свойственным ему прагматизмом. У них поселилась домработница с проживанием, миссис Маккей, и весь распорядок домашней жизни остался прежним.

Пятилетняя разница в возрасте между Артуром и его старшими братьями не способствовала их сближению. Джордж-младший и Тедди были неразлучны и не горели желанием возиться с младшим братишкой. Если им приходилось брать его с собой на рыбалку или субботние «вылазки в город», старшие ясно давали ему понять, что он для них – нежелательная обуза. К началу 1935 года оба его старших брата бросили школу и стали работать в отцовской фирме, теперь носившей гордое название «Бретуэйт и сыновья». Элис писала слезные письма, умоляя мужа отпустить к ней Артура на школьные каникулы, но Джордж-старший не поддерживал эту идею. «Если ей так уж хочется с тобой повидаться, ей никто не мешает приехать самой» – так он всегда говорил и не желал обсуждать этот вопрос. Артур не спорил с отцом, но по ночам горько плакал в подушку, одновременно тоскуя по матери и злясь на нее за то, что она его бросила.

У Артура был врожденный лентикулярный астигматизм, так что он с раннего детства носил очки с очень толстыми линзами. В первом классе над ним безжалостно издевались сверстники, но ему было все трын-трава, так что мучителям быстро наскучило над ним глумиться, и после нескольких пар разбитых очков его оставили в покое. Как и его мать, он плохо сходилась с людьми, не обзавелся друзьями и стал вроде как одиночкой. Он много читал, ему особенно нравились романы Уильяма Эрла Джонса о похождениях Бигглза и другие книги об искателях приключений. Спустя много лет, когда он увидел Хью Эдвардса в роли Хрюши в фильме Питера Брука «Повелитель мух» 1963 года, ему показалось, будто он смотрит на себя в детстве: «безнадежный изгой, пытающийся вразумить тех, кому совершенно неинтересны разумные доводы». Это очень нелестная самооценка. В реальности, не считая очков с толстыми, как донца бутылок, стеклами, он был довольно красивым ребенком (что подтверждается сохранившимися фотоснимками) со слишком взрослым лицом. Лишь годам к двадцати его зрелые черты более-менее сравнялись с реальным возрастом.

Как это часто бывает с людьми, добившимися успеха своими силами и трудом, у Джорджа Бретуэйта не было времени получить даже среднее образование, однако Артур усердно учился в школе. Если уж он не мог преуспеть в спорте, то мог хотя бы блистать на уроках. Ему нравилось наблюдать за унижением главных школьных хулиганов, которые не могли с первого раза прочесть элементарное предложение или решить простенькую математическую задачу. Он брал мозгами и на том строил свою идентичность. Артур был единственным из трех братьев Бретуэйт, кто сумел поступить в гимназию. В двенадцать лет он впервые сознательно вышел «из тени» своих старших братьев и стал «сам себе личностью». Если отец и гордился успехами младшего сына в учебе, то никак этого не проявлял. Он только мельком просматривал школьные табели, поскольку «все эти оценки не будут значить вообще ничего, когда ты приступишь к работе в семейной фирме». Эти слова лишь укрепляли решимость Артура самостоятельно выбрать свой жизненный путь. Но пока что у него не было выбора: по субботам ему приходилось работать в отцовском магазине на Скиннергейт. По крайней мере, так он хотя бы имел

пусть небольшой, но свой собственный доход, и на летних каникулах 1939 года смог купить билеты на поезд – сначала до Лондона, потом до Гастингса, откуда до Этчингема было всего-то тринадцать миль, и он добрался туда автостопом. Когда мать увидела, что он приехал, она упала на колени и разрыдалась. Артур, не привыкший к таким проявлениям чувств, просто стоял и смотрел. Мамины слезы, писал он позднее, его смутили. «Видимо, я просто не знал, чего ожидать. Я еще не научился смотреть на мир с точки зрения кого-то другого». Когда мама, все еще стоявшая на коленях, его обняла, он почувствовал, что она «обнимает не меня настоящего, а того меня, которого уже давно нет». И все-таки запах ее волос отчасти вернул его в детство, и пока Артур гостил в Этчингеме, он старательно «играл в малыша», чтобы сделать приятное матери. Для нее он был маленьким мальчиком, и он видел, что ей хотелось, чтобы так оставалось и впредь. Позже он говорил, что «мне было приятно вернуться к детским привычкам и не притворяться, как я притворялся в доме отца, что меня совершенно не задевает его пренебрежительное отношение. Только тогда я осознал, что и дома тоже играю роль».

Артур заметил, что мать сильно переменялась. Она всегда была худенькой, а теперь стала болезненно тощей: кожа да кости. Она стала забывчивой и рассеянной. Провалы в памяти очень ее огорчали, она писала себе записки с напоминаниями и строго отчитывала неодушевленные предметы, которые стояли не на своих обычных местах. Преподобный Коллинз скончался два года назад. Элис не сообщила об этом мужу. Видимо, потому, что иначе у нее больше не было бы причин оставаться в Этчингеме.

Когда Артур вернулся в Дарлингтон, отец объявил, что больше он не работает у него в магазине. Артур не сильно расстроился. С матерью он уже повидался, и деньги были ему не особо нужны. Книги он брал в общественной библиотеке на Краун-стрит и целыми днями читал в парке неподалеку от Уэстлендс-роуд. Это было счастливое мирное лето, а в сентябре началась Вторая мировая война. Джордж-младший и Тедди сразу же записались в армию добровольцами. Артура призвали в 1943-м, но признали негодным к действительной службе из-за сильной близорукости. Он служил в качестве санитаря в военном госпитале. Тедди погиб на Голд-Бич во время высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Оба Джорджа, старший и младший, как будто винули в этом Артура, словно его брат погиб лишь потому, что он сам не был на фронте.

После войны, к вящему неудовольствию отца, Артур получил стипендию и поступил в Оксфорд на философский факультет. Философию он выбрал исключительно по той причине, что этот абстрактный предмет являл собой полную противоположность отцовскому северному прагматизму. Как и следовало ожидать, он не вписался в компанию мальчиков из Итона и Харроу. Именно в Оксфорде он стал называть себя вторым именем. «Артур Бретуэйт» звучало непоправимо провинциально. «Коллинз Бретуэйт», как ему представлялось, звучало внушительно и солидно. Артур нарочно старался растягивать свои короткие даремские гласные и стал курить трубку вместо дешевых папирос. Разумеется, все это было притворством, но в этом притворстве он обрел определенную степень свободы. В Оксфорде он мог быть кем угодно. Вскоре он понял, что тот человек, которого он считал настоящим собой, – это просто конструкция. Человека нельзя отделить от среды и от прочих людей, с которыми он взаимодействует. Пока что вся его личность или то, что он считал ею, была лишь реакцией на его окружение, а учеба на философском факультете – лишь слабой попыткой дистанцироваться от отца.

Его первым куратором был Айзая Берлин. В первом семестре Берлин всячески благоволил Бретуэйту, считая его одаренным студентом. Видимо, под впечатлением от его природного ума и бесстрашия. Однако в начале второго семестра Бретуэйт сдал ему курсовую работу по Декарту. Уже с первой страницы Берлину стало ясно, что работа никуда не годится; тезисы были небрежными и бессистемными; Бретуэйт излагал свои собственные, не подкрепленные аргументами мысли, не уделяя внимания собственно тексту. Возможно, со стороны Берлина это была благонамеренная попытка вывести одаренного ученика на новый уровень, но Брету-

эйт воспринял критику в штыки. Возможно, Берлин напомнил ему об отце, который тоже всегда его критиковал. Возможно, он попросту не умел слушать, когда ему указывали на недостатки. Выросший с мыслью о своей недооцененной гениальности, он был еще недостаточно зрел, чтобы не раздражаться, когда кто-то оспаривает его мысли. Как бы там ни было, это стало началом конца его первой попытки получить высшее образование. «Гениальному» Коллинзу Бретуэйту было непросто смириться с тем, что ему как студенту первого курса еще не положено выражать свои собственные, оригинальные мысли. Или, может быть, все было проще (и хуже): он был похож на отца даже больше, чем ему хотелось бы думать, и абстрактное мышление, необходимое для изучения философии, давалось ему с трудом. Кое-как продержавшись в университете полтора года, Бретуэйт бросил учебу. Он не стал сообщать о своем унижении отцу, а поехал в Лондон, где сменил несколько разных работ, не требующих никакой особой квалификации.

В 1948-м он присоединился к разъездной бригаде рабочих и уехал во Францию собирать виноград. После изысканно-чопорной атмосферы Оксфорда ему очень понравился безыскусный физический труд и дух товарищества среди простых рабочих. Он быстро заговорил по-французски и всюду наслаждался беззаботными, ни к чему не обязывающими сексуальными приключениями. Позже Бретуэйт писал, что до поездки во Францию его опыты в сексе были редкими и единичными и все заканчивалось «не посткоитальной сигаретой, а чувством вины и страхом «быть застуканным». Во Франции никому не было дела до парочек, пылко сношавшихся где-нибудь в кустах или прямо посреди чистого поля. «Только вернувшись в Англию, – писал Бретуэйт с явной досадой, – я с удивлением узнал, что сексом следует заниматься исключительно в помещении». Однако он все же вернулся в Англию.

Он устроился на работу в военный госпиталь в Нетли близ Саутгемптона, где служил санитаром во время войны. Некогда обширный лечебный комплекс на 2500 коек теперь превратился практически в богадельню для травмированных ветеранов с пошатнувшейся психикой. Условия были кошмарными в прямом смысле слова. Пациентов держали в инсулиновой коме. Для профилактики эпилептических припадков в палатах никогда не зажигали электрический свет, так что врачам приходилось ходить с налобными фонарями. Младшему персоналу строго-настрого запрещалось разговаривать с пациентами.

Именно в Нетли Бретуэйт впервые столкнулся с шотландским психиатром Р. Д. Лэйнг-гом. Лэйнг, конечно, не помнил об их знакомстве – да и с чего бы ему было помнить? – но он произвел неизгладимое впечатление на юного санитаря. До тех пор Бретуэйт не особо задумывался, что и как, и был твердо уверен, что «сумасшедшие есть сумасшедшие, и люди в белых халатах знают, как лучше, и действуют в интересах своих пациентов». Но, наблюдая Лэйнга за работой, он изменил свое мнение: «Лэйнг был совсем не похож на врача; он не ходил как врач; и даже не «крякал» как врач». Подход Лэйнга к лечению психических заболеваний действительно был радикальным. Он разговаривал с пациентами на равных и даже интересовался их мнением о ходе лечения; иными словами, он относился к больным как к самоценным личностям, а не как к живым трупам, лишенным свободы воли. Опыт работы в Нетли определил дальнейшую карьеру и Лэйнга, и Бретуэйта. Позже Лэйнг писал: «Я начал подозревать, что электрошок и инсулин, не говоря уже о лоботомии и самой обстановке в психиатрической клинике, не столько лечат, сколько калечат психику, разрушают людей и сводят их с ума».

Для Бретуэйта больница в Нетли была местом, где «я осознал, что работаю не санитаром в лечебном учреждении, а надзирателем в тюрьме, где заключенных – не повинных ни в каких преступлениях – держат в условиях, которые запросто доведут до сумасшествия даже самого крепкого разумом человека».

Лэйнг ушел из Нетли в 1953 году. Бретуэйт продержался еще несколько месяцев, пока окончательно не осознал, что тамошняя обстановка подрывает его собственное психическое здоровье. Ему снились кошмары, в которых он сам был пациентом психиатрической клиники.

Открытые, солнечные пространства стали казаться ему угрожающими и гнетущими. Опыт работы в больнице вдохновил Бретуэйта вернуться в Оксфорд, где его приняли на факультет психологии, философии и физиологии, учрежденный при кафедре экспериментальной психологии в 1947 году. Учеба на психологическом факультете помогла Бретуэйту увидеть свои отношения с отцом в новом свете. В книге мемуаров «Я сам и прочие незнакомцы» он писал: «Мой отец вспоминал о своем опыте на войне как о веселых мальчишеских приключениях в стиле журнала «Только для мальчиков». Повсюду взрываются снаряды – БА-БАХ! – головы-руки-ноги летят во все стороны; сам бредешь по колено в крови и кишках убитых товарищей; пули свистят у виска. Но даже в детстве я понимал, что вся эта бравада – всего лишь маска, за которой скрывается неизлечимая травма, и что его неспособность усидеть на месте, даже устоять на месте, – это своего рода бегство от демонов, не дающих ему покоя».

В свой шестьдесят пятый день рождения Джордж Бретуэйт сел в «Ягуар Марк VII» и поехал в Норт-Йорк-Мурс. Выпил виски и пинту биттера в гостинице «Буковый двор» в деревеньке Чоп-Гейт, потом проехал четыре мили до Фангдейл-Бека, где встал на обочине и выстрелил себе в рот из пистолета, который привез с войны его старший сын. Он не оставил предсмертной записки. Джордж-младший тут же продал семейный бизнес, запил по-черному, и через пять лет его тоже не стало. Даже по прошествии десяти лет Бретуэйт не нашел в себе ни капли сочувствия к брату: «Он был грубияном и хамом и слишком поздно сообразил, что прибил свой флаг к мачте тонущего корабля».

Бретуэйт периодически навещал мать. Элис переехала жить к сестре и казалась вполне довольной своей судьбой, однако с течением времени начала забывать сына. Случалось, она не вставала с постели по несколько дней, а то и недель кряду. В конце концов она перестала узнавать Артура, и он прекратил свои редкие визиты. Если его огорчало нынешнее состояние матери, то он никак этого не проявлял. «Моя мать фактически была мертва. Если кто-то другой поселился в ее бывшем теле, то что мне за дело до этого чужака?» Элис умерла в 1960 году. Несмотря на настояния тетушки, Бретуэйт не приехал на похороны.

Вторая тетрадь

Когда мне исполнилось десять, на день рождения мне подарили – как до этого Веронике – красивый дневник на пять лет. Маленький толстый блокнот в переплете из красной искусственной кожи с крошечным замочком. Только уже совсем вечером, когда я собиралась ложиться спать и сидела на краешке кровати, взвешивая в руках свой новый дневник, я поняла, что означал этот замочек: я вошла в возраст, когда мне разрешается иметь секреты. Теперь я достаточно взрослая, чтобы иметь право на мысли, которыми лучше ни с кем не делиться. Это, конечно же, полный вздор. Сколько я себя помню, у меня часто бывали противные, злые мысли, но этот замочек как бы давал мне особое разрешение. Теперь у меня появилась тетрадь, куда можно записывать даже самые гадкие мысли.

Кстати, вот что любопытно: насколько я знаю, мальчишкам не дарят подобные дневники. Мальчишки – незамысловатые создания. Они носятся как угорелые, кричат во весь голос, дерутся, гоняют мяч – шумные, неуправляемые *существа*, – а девочки скромно сидят в сторонке и лелеют свои обиды. Мальчикам не нужны никакие секреты. Из них изливается все и сразу. Девочки почему-то обязаны держать все в себе. Десятилетняя, я уже тогда это осознавала, правда, пока еще смутно. Помню, как я открыла дневник у себя на коленях. Четные страницы были разделены на четыре равные части, нечетные страницы – на три. Место, отведенное для каждого дня моей жизни, было шириной буквально в два пальца. Если мне и разрешалось иметь секреты, никто явно не ждал, что их будет много. Также мне было ясно, что мой новый красивый дневник был ловушкой. Мне его подарили только затем, чтобы я разоблачила себя на этих страницах. Мама наверняка будет украдкой читать мой дневник, как я украдкой читала дневник Вероники (замочек легко открывался заколкой-невидимкой).

Записи в дневнике моей старшей сестры были скучными и неизменно позитивными. Она аккуратно записывала свои школьные оценки (всегда отличные); свои впечатления о прочитанных книгах (всегда положительные); свои размышления о чувствах к родным (всегда самые теплые). Мне ни разу не пришло в голову, что Вероника, возможно, не пишет всей правды; что она тоже утаивает от мира свои темные, злые мысли. Все дело в том, что Вероника была образцово хорошей девочкой. Я даже и не особенно скрывала, что читаю ее дневник. В своей наивности она, кажется, не допускала и мысли о том, что кто-то хитренький – и уж тем более кто-то из близких – беззастенчиво воспользуется ее доверием. Я не разделяла ее наивности. Мне не хотелось вести дневник, но я знала, что если совсем ничего не писать, то тогда сразу станет понятно, что у меня есть нехорошие мысли, которые нельзя доверить бумаге. Поэтому я уселась за стол, заполнила личные данные на титульной странице и принялась за работу. Вот первая запись в моем детском дневнике:

Суббота, 10 июня 1951 года

Сегодня мой день рождения, мне исполнилось 10 лет, и мне подарили этот дневник, куда я постараюсь правдиво записывать свои мысли и чувства в ближайшие пять лет. Еще мне подарили новое платье, которое я надену завтра. После обеда мы ходили в Ричмонд-парк, и папа купил мне мороженое. Сначала погода была хорошая, а потом пошел дождь, и мы спрятались под деревьями. Мама сказала, что надо было взять зонтик.

И в том же духе еще два года. Каждая запись начиналась с упоминания о погоде. Далее следовал ряд замечаний, вдумчивых и серьезных, на тему того, как прошел школьный день, что мы ели на ужин, а по воскресеньям – куда нас с Вероникой водили гулять. В краткий период моего увлечения орнитологией я записывала всех птиц, которых видела на прогулке. Любой, кто прочел бы эту бессодержательную ерунду, наверняка сделал бы вывод – причем совер-

шенно оправданный, – что я была самой скучной девчонкой на свете. Однако весь мой дневник был одной большой выдумкой. По сути, я создала литературного персонажа – почти как писатель, сочиняющий вымышленные миры, – но для единственного читателя. Я не то чтобы писала неправду. Насколько я помню, все, о чем я писала в своем дневнике, происходило на самом деле. Просто все это, взятое вместе, создавало совершенно ложное впечатление. Настоящая правда заключалась не в том, что я записывала в дневник, а в том, о чем я умалчивала.

В двенадцать лет я окончательно забросила свой дневник. Это было не то чтобы сознательное решение: все, больше я ничего не пишу. По крайней мере, я такого не помню. Думаю, мне попросту стало скучно. Однажды за ужином мама спросила как бы между прочим, продолжаю ли я вести дневник. Я сказала, что да, зная, что она все равно не сможет мне возразить. «Хорошо, – сказала она. – Очень важно записывать, что с тобой происходит. С возрастом многое забывается». Перечитывая свои детские записи, я совершенно не вижу смысла вспоминать, что 20 октября 1952 года одиннадцатилетняя я увидела на улице птичку пеночку. Записывая в дневник то или иное событие, мы придаем ему некую особую значимость, но в жизни, как правило, не так уж и много по-настоящему значимых событий, и получается, что дневниковые записи – это, по сути, пустое тщеславие и ничего больше.

Однако теперь я думаю иначе. Вовсе не потому, что считаю, будто бы моя жизнь обрела больше важности. Но когда я запираюсь у себя в комнате и открываю тетрадь, мне больше не нужно подвергать свои мысли цензуре. Если я захочу записать неприличное слово или какую-то грязную мысль, я вольна это сделать. Разве не в том заключается смысл личного дневника, чтобы выражать свои мысли свободно и честно? Кстати, перечитав мои записи в предыдущей тетради, я пришла к выводу, что до сих пор сдерживаю себя из чувства приличия, хотя теперь мне не надо бояться, что мама украдкой прочтет мои откровения. Могу сказать только одно: отныне и впредь я постараюсь ничего не утаивать и писать все как есть.

[Следующие две страницы вырваны из тетради]

Самоубийство близкого человека каждого превращает в мисс Марпл. Невольно ищешь повсюду улики. Разумеется, ищешь их в прошлом, потому что у человека, покинувшего этот мир, нет ничего кроме прошлого. Как я уже говорила, никто не поверил бы, что Вероника способна покончить с собой, хотя бы потому, что она была донельзя скучной. Самоубийцы представляются нам этакими отчаянными, безрассудными, измученными существами с лихорадочным блеском в глазах. Вероника была совершенно другой. По крайней мере, *казалась* другой. Возможно, тот образ, который она являла миру, был таким же вымышленным, как мой персонаж, придуманный для детского дневника. Возможно, существовала еще одна, настоящая Вероника, надежно спрятанная от всех. Когда такой человек, как Вероника, бросается под поезд с моста, он сразу видится в новом свете. Сразу становится интересным. И когда ты начинаешь вникать в его жизнь и рассматривать под лупой каждую мелкую деталь, даже самые простые события приобретают новую глубину.

Я не горжусь этим признанием, но известие о «нервном срыве» моей старшей сестры я приняла с тайным злорадством. Ей было двадцать три года, она училась в аспирантуре в Кембридже, окончив с отличием основной университетский курс. Она собиралась замуж за младшего преподавателя со своего факультета, с которым у нее сложились до зубовного скрежета гармоничные отношения. Где-то за месяц до срыва она пригласила своего драгоценного Ланка к нам домой на воскресный обед, что само по себе было неслыханно. Но когда Питер спросил у отца, могут ли они переговорить наедине, я поняла, что готовится что-то совсем уж злое. Мы с Вероникой молча сидели в гостиной, пока мужчины беседовали в папином кабинете. Я осуждающе поглядывала на сестру, но она избегала смотреть мне в глаза. Миссис Ллевелин выставила на стол праздничные бокалы и хрустальный графин с хересом, который в мирное время хранился в буфете в столовой от одного Рождества до другого. Вот тут я и задумалась.

Видимо, папа заранее знал, что сегодня произойдет, и предупредил миссис Ллевелин. Вряд ли она стала бы распоряжаться хозяйским хересом по собственному почину. Мужчины вернулись в гостиную минут через десять. Вероника поднялась с дивана и вопросительно посмотрела на папу. Он улыбнулся и обнял ее, чего в нашей семье до сих пор не случалось: у нас как-то не принято демонстрировать нежные чувства друг к другу. Он произнес небольшую речь, поприветствовал нового члена семьи в лице Питера и пожелал будущим новобрачным долгих лет счастья. Будущие новобрачные сидели рядышком на диване, словно позируя для снимка в глянцевого женском журнале. Вероника сжимала двумя руками мясистую лапищу Питера. Отец настоял, чтобы миссис Ллевелин тоже выпила с нами хереса. Как положено, поломавшись для виду, она согласилась, после чего сразу умчалась на кухню – следить, чтобы не подгорело жаркое.

Наверное, я должна была радоваться за сестру, но я не могла удержаться от мысли, что все ее достижения происходят единственно из желания показать, что она во всем превосходит меня. Она не только училась в аспирантуре, но еще и умудрилась раздобыть себе жениха многочисленных неоспоримых достоинств. Так что, когда я узнала о ее «нервном срыве», я, конечно, злорадствовала про себя. И меня вряд ли можно за это винить. Ее безупречная обличка наконец дала трещину.

Одним погожим воскресным утром мы с папой поехали в санаторий на окраине Кембриджа, где Вероника проходила лечение. По дороге мы большей частью молчали. Папа держал во рту незажженную трубку и вел машину в своей обычной сдержанно-сосредоточенной манере. Он выразил мнение, что Вероника просто переутомилась и что при ее достижениях это неудивительно. Я смотрела в окно на безликие пейзажи Хартфордшира. Мне представлялся хрестоматийный Бедлам, где пациенты, одетые только в халаты, испачканные фекалиями и рвотными массами, сидят, прикованные цепями к каменным стенам, и кровь стынет в жилах от душераздирающих криков, разносящихся по коридорам. Грубые крепкие надзиратели в засаленных кожаных жилетах патрулируют этажи и периодически избивают несчастных психов. Вероника, как мне представлялось, сидит в полном ступоре, пускает слюни и, не обращая внимания на творящийся вокруг хаос, неразборчиво бормочет себе под нос математические формулы. В моих темных фантазиях я тоже была пациенткой, корчилась, туго связанная смирительной рубашкой, на узкой койке из голых досок; ремень, забившийся между ног, создавал трение для тайного удовольствия. Удовольствия от пленительного умирения, которого никогда бы не оценила моя сестра.

Сказать, что я была разочарована, когда мы подъехали к клинике Берлингтон-хаус, это вообще ничего не сказать. Это был никакой не Бедлам, а скорее поместье Мандерли. Казалось, что на крыльцо под колоннами сейчас выйдет Макс де Уинтер в окружении своих спаниелей. И все же внешность бывает обманчивой, так я себе говорила. Кто знает, какие ужасы скрываются внутри? Считая свежие фрукты лучшим лекарством от любого расстройства ума, отец заказал большую фруктовую корзину в «Фортнум и Мэйсон» и теперь велел мне забрать ее с заднего сиденья. Мы поднялись на крыльцо, и отец позвонил в дверь. Мы встали чуть поодаль от двери, чтобы нас не приняли за каких-нибудь коммивояжеров. К нам вышла породная матрона с волосами, собранными в аккуратный пучок. Отец сообщил ей о цели нашего визита. Нас провели в вестибюль с полом, выложенным черно-белой плиткой по типу шахматной доски, и попросили расписаться в книге посещений. Я записалась под вымышленным именем. Та же матрона сопровождала нас с папой в большую гостиную с окнами во всю стену, выходящую на открытую веранду.

Вероника сидела в кожаном кресле и читала книгу. У меня сложилось впечатление, что она приняла эту позу нарочно в ожидании нашего визита. Увидев нас, она изобразила притворное удивление и поднялась нам навстречу. Она была в кремовой блузке, шерстяной юбке и туфлях на низком каблучке. Увы, никаких следов рвотных масс и фекалий вроде бы не наблю-

далось. И все же сестра похудела, как я отметила не без злорадства, и у нее под глазами лежали темные круги.

Она вытянула вперед обе руки и сказала:

– Папа! Тебе не стоило ехать в такую даль. У меня все хорошо. Зачем поднимать столько шума из-за ничего?

Я топталась за спиной у отца, вцепившись в ручку корзины с фруктами.

– И ты тоже приехала! – воскликнула Вероника и протянула мне руку. Я на миг прикоснулась к ее вялым пальцам.

Красавец-жених тоже шагнул нам навстречу. Он пожал руку отцу и расцеловал меня в обе щеки на французский манер.

– Она у нас молодец! – радостно объявил он. – Уже пошла на поправку, и скоро можно готовиться к выписке.

– Вообще-то мне здесь даже нравится, – сказала Вероника. – Может быть, я нарочно прикинусь больной на всю голову и задержусь тут подольше. – Она высунула язык и закатила глаза, изображая тихое сумасшествие. Мы все рассмеялись.

Затем последовала продолжительная суматоха с перетаскиванием кресел, и наконец мы все уселись вокруг журнального столика, на который я водрузила корзину с фруктами. Вероника принялась перебирать ее содержимое, называя вслух каждый фрукт, точно Ева в Эдемском саду. Можно было подумать, что она никогда в жизни не видела ананас.

– Ты так исхудала, – сказал отец. – Наверное, поэтому все и случилось. – Он обратился к Питеру: – Ты проследишь, чтобы она ела нормально?

– Конечно, сэр, – ответил он, словно она была поросенком, которого надо откармливать на убой.

Я оглядела гостиную. У окна сидел молодой парень в халате поверх пижамы. Он читал книгу, совершенно не обращая внимания на нашу шумную компанию. С виду он был совершенно нормальным. Если увидишь такого в обычной одежде за столиком в кафе, никогда не подумаешь, что он сумасшедший. Пока папа расспрашивал Питера о здешнем питании, я потихонечку встала, обошла комнату по кругу, как бы случайно остановилась с ним рядом и заметила:

– Вам бы стоило выйти на улицу.

Меня саму покорило собственным назидательным тоном. Так могла бы сказать моя мама.

Парень медленно поднял голову и посмотрел на меня, хотя мне показалось, что скорее *сквозь* меня.

– Сегодня такая чудесная погода, – добавила я для разъяснения.

Он рассеянно глянул в окно.

– Да, наверное.

Я подтянула к окну стул и села спиной к своему семейству. Ни папа, ни Вероника, кажется, и не заметили, что я покинула их компанию. Парень наклонился вперед, словно хотел прошептать что-то мне на ухо. Его книга упала на пол. Она была на французском. Как интересно! Он был совсем не похож на душевнобольного, и я постеснялась спросить, от чего он тут лечится. В нем было что-то от поэта-романтика. Может быть, он страдал от разбитого сердца.

Я сказала ему, как меня зовут.

– Это моя сестра, – сообщила я шепотом. – У нее был нервный срыв.

– А, Вероника, – ответил он, заметно оживившись. – Она хорошая.

– Да, – сказала я, – но совершенно безумная.

– Она вроде бы учится в Кембридже.

– Она так сказала? – Я печально покачала головой. – Не верьте ни единому ее слову.

Парень взглянул в сторону столика, где проходила семейная встреча.

– А ее жениху? – спросил он. – Ему тоже не верить?

– Ее жениху? Это ее врач. Личный врач. Наш отец – миллионер.

Он посмотрел на меня совершенно пустыми глазами.

– Вы не сказали, как вас зовут, – заметила я.

– Вы медсестра? – спросил он с подозрением.

– Нет. Я вообще не отсюда.

– Я Роберт.

– Скажите мне, *Робер*. – Я произнесла его имя на французский манер. – Не хотите ли выйти со мной на веранду?

Он оглянулся через плечо.

– Кажется, это запрещено.

Я резко поднялась.

– Тогда я *сама* прогуляюсь.

Я думала, что он все-таки пойдет за мной, но он остался сидеть на месте и поднял с пола книгу. Я подергала ручку стеклянной двери. Она была заперта. Я пару секунд постояла и дернула ручку еще раз. Мне было лень возвращаться в вестибюль, выходить наружу и огибать здание по кругу лишь для того, чтобы доказать, что уж мне-то никто не мешает пройти по веранде.

– Все равно, кажется, собирается дождь, – сказала я, пожав плечами.

Роберт как будто меня и не слышал. Он опять углубился в книгу, которую держал вверх тормашками. Я вернулась к своему семейству, и когда села в кресло, никто даже и не посмотрел в мою сторону. Пока меня не было, к ним пришел врач, импозантный мужчина под шестьдесят, с красным лицом и порезом от бритвы у одного уголка рта. Он объявил, что Веронике не нужно никакое лечение, кроме хорошего долгого отдыха. Месяца через два-три она полностью придет в себя. Что-то подобное часто случается с молодыми женщинами, которые слишком усердствуют в жизни. Было не совсем ясно, что означает «что-то подобное», но я не стала уточнять, и папа тоже не стал. Вероника улыбалась блаженной улыбкой, словно гордилась своим излишним усердием в жизни.

На обратном пути, по настоянию папы, мы пообедали в ресторане в придорожной гостинице. Папино настроение заметно улучшилось. Он съел стейк, пирог с почками и выпил полпинты пива. Я заказала свиную отбивную с гарниром из молодого картофеля, так щедро сдобренным сливочным маслом, что лишнего фунта жира на бедрах было не избежать. Не считая нескольких брошенных вскользь замечаний об окружающей обстановке, мы ели молча. Нам с папой особенно не о чем говорить – и так было всегда, – но именно это молчание нас и роднит. Мы не испытываем потребности проводить наше время вдвоем за бессмысленной болтовней. Оглядев зал, я подумала, что посторонние люди, возможно, принимают нас с ним за любовников.

В то время я как-то не слишком задумывалась о нервном срыве Вероники. Как и предсказывал Питер, она быстро поправилась и уже через пару недель вернулась в Кембридж. Дома мы это не обсуждали. Но после ее смерти я поневоле задумалась: может быть, тот нервный срыв был предвестником грядущей беды. Как я понимаю, всем людям свойственно просеивать прошлое в поисках объяснения для настоящего. Я совершенно не разбираюсь в психиатрии, но, кажется, эти копания в прошлом составляют самую суть и основу темных психиатрических искусств. Именно в прошлом скрываются засекреченные подсказки, которые могут расшифровать только невозмутимые, бородатые доктора.

У доктора Бретуэйта не было бороды, и пока что он не проявлял никакого особенного интереса к скрытым сокровищам моего прошлого. Честно признаюсь, что после первого визита я считала себя жутко умной и ужасно собою гордилась. Ребекка, как мне показалось, заморочила голову Бретуэйту, и он даже не заподозрил подвоха. Но за неделю, прошедшую между первым и вторым сеансом, я поняла, что мой план никуда не годится. Да, я на собственном

опыте убедилась, насколько сильна его личность, но не узнала ничего существенного о Веронике, ради чего, собственно, все затевалось. Похоже, Ребекке Смитт надо вооружиться чем-то потяжелее смутного ощущения тревожности. Я решила, что у нее будет склонность к саморазрушению. Всю неделю я мысленно репетировала нашу будущую беседу. Я засыпала и просыпалась с мыслями о Коллинзе Бретуэйте, он снился мне каждую ночь.

Я решила, что хватит актерствовать. Никаких больше рваных чулок и растрепанных волос. Отныне и впредь я буду, насколько возможно, придерживаться правды. Я не без удовольствия готовила Ребекку к следующему визиту. Шелковый шарф был извлечен из кармана пальто. Ее макияж был безупречен. Я тщательно рассмотрела себя в зеркале в туалете на лестничной площадке рядом с кабинетом мистера Браунли и пришла к выводу, что Ребекка выглядит идеально. Настоящая светская девушка. Не будь моя цель настолько серьезной, я бы, наверное, веселилась всю.

В поезде по дороге на станцию Чок-Фарм мне улыбнулся мужчина в светло-сером костюме. Я не отвела взгляд, как сделала бы обычно, а посмотрела ему прямо в глаза. Именно так поступила бы Ребекка. Мужчина ничуть не смутился. С виду вполне респектабельный джентльмен. Лет сорока, может, чуть больше, с намечающейся сединой на висках.

В левой руке он держал сложенный плащ, перекинутый через локоть, в правой – сегодняшняя номер «Таймс». Его взгляд задержался на моих коленках, потом неспешно поднялся вверх. Он смотрел на меня в упор. У него на губах играла лукавая улыбка. Он приподнял одну бровь. Я поднесла руку к лицу, чтобы скрыть румянец смущения. Я устала в дальний конец вагона, но всю дорогу чувствовала на себе его взгляд. Может быть, именно так начинаются тайные связи? Поезд уже приближался к моей остановке. Я украдкой взглянула на того мужчину. К моей вящей досаде, он увлеченно читал газету и, похоже, совсем обо мне позабыл. Он даже не посмотрел в мою сторону, когда я выходила. Наверное, я как-то не так сыграла свою роль в этой игре. Тем не менее я испытала определенное возбуждение, словно мы с ним заключили негласную тайную договоренность. Возможно, позже, засыпая рядом с женой, он вспомнит Ребекку и будет думать о ней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.